

Юрий АРАКЧЕЕВ



...И БО НЕ ВЕДАЮТ,
ЧТО ТВОРЯТ

СВИДЕТЕЛЬСТВО СМУТНОГО ВРЕМЕНИ

МОСКВА, 2020

16+

Юрий Сергеевич Аракчеев

Ибо не ведают, что творят

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=50296176

SelfPub; 2020

Аннотация

Непростая судьба русского писателя и фотохудожника с середины XX-го века по сегодняшний день. Трудности на пути человека, посвятившего свое творчество красоте окружающего мира и любви к жизни, и верно своим убеждениям, несмотря ни на что. «Прорывы из окружения», «битвы» с редакторами, «удары» цензуры Главлита, «штурмы» журналов и издательств, встречи с А.Т.Твардовским, Ю.Трифоновым и другими известными писателями, неоднократные дальние велопутешествия по стране, экспедиции, командировки от центральных газет и журналов, победы на «читательском» и «женском» фронтах, всесоюзный успех «бестселлера перестройки», альбом «фотоживописи» и катастрофа 90-х. Запрет на профессию в «свободной» стране и счастливая личная жизнь «над бездной».

Содержание

Пролог	5
Часть 1. Мое дерево	16
Ради чего?	17
Школа	26
Начало	35
Университеты	37
Литинститут	66
Колдовство?	69
Первая публикация	87
«Обязательно завтра»	89
Последствия	101
«Подкидыш»	106
Почем синь неба	117
Превратности судьбы	124
Встреча с Твардовским	137
Приговор	143
Вестница	148
Конец ознакомительного фрагмента.	153

Свидетельство смутного времени

«По плодам их узнаете их»

(«От Матфея». 7,16)

Пролог

В юности я прочитал роман Джека Лондона «Мартин Иден», написанный еще в начале XX века. Эта книга меня потрясла. Переживания Мартина Идена оказались мне очень близки, хотя и трудно было согласиться с таким печальным финалом: он героически добился того, что стал знаменитым писателем, но – покончил с собой, нырнув в морскую бездну с корабля...

Сначала он был простым моряком, а потом влюбился в девушку из аристократической семьи, начал читать книги и решил, что сам станет писателем – ему есть, что сказать миру! В конце концов ему удалось достигнуть большого писательского успеха, но полностью разочаровавшись в лживом, продажном мире Америки начала 20-го века, он не захотел в нем жить.

И судьба самого Джека Лондона сложилась фактически так же – он тоже покончил с собой, едва дожив до сорока лет, хотя и достиг большого писательского успеха...

Ах, зачем же он так сделал! – сокрушался я, как наверняка и многие читатели джек-лондоновских рассказов, повестей и романов. Ну да, он в Америке жил, Стране Желтого Дьявола, понятно...

Но тогда мне почему-то и в голову не приходило, что герой любимого моего романа, писатель Мартин Иден – так же,

как и сам автор романа – просто мальчишка по сравнению с нашими, русскими писателями! Судьба Мартина Идена была в сущности гораздо легче, чем у писателей в нашей стране. Его всего-то год-два не печатали, а он уже чуть ли не пал духом. И так надорвался от борьбы с издателями, что дальнейшего просто не выдержал. Так же фактически и Джек Лондон.

У нас в России, а потом в Советском Союзе настоящие книги не печатали *десятилетиями!* Да и судьба опубликованной книги у нас вовсе не такая, как, в Америке. В советское время за книгу (и даже за рукопись) у нас могли арестовать, выслать, убить. А сейчас, в постсоветское время «рыночной демократии» настоящие книги у нас не печатают вообще – они *не выгодны*. Так что, дорогой Март, мы тебе, конечно, сочувствуем, но... Нам бы твои трудности, как говорится.

В конце концов, мне даже захотелось сочинить этакий отклик на роман Джека Лондона «Мартин Иден». А заодно как бы ответить самому Джеку Лондону от человека, живущего после него в другой стране, в другое время, но занимающегося тем же делом, какому он, знаменитый писатель, посвятил свою жизнь.

Не только ему послание, конечно, а и нашим гражданам – им в первую очередь. Многие из них даже не представляют себе, что такое судьба писателя в нашей стране – хотя как будто бы и «проходили» в школе русскую и советскую ли-

тературу и не могут не знать о судьбах того же Достоевского или Толстого, а также Ломоносова, Радищева, Чаадаева, Пушкина, Лермонтова, Булгакова, Платонова, Есенина, Маяковского, Гумилева, Мандельштама, Пастернака, Солженицына и многих, многих других.

А сегодня, после распада Союза, у нас если что-то изменилось, то не в лучшую сторону. Сегодня в РФ высшее мерило всего что? *Доллар!* Как и в Америке в твои времена, Джек. Мы теперь, как сказал бы «лучший, талантливейший поэт нашей, советской эпохи» Владимир Маяковский, тоже, как и Америка, – Страна Желтого Дьявола! И за золото и бумажные его эквиваленты продаются не только книги, а – все, что угодно, включая честь, душу, совесть. Ну, и человеческие жизни, само собой.

И вот ведь какой парадокс! Книг в сегодняшней нашей РФ выходит уйма – сотни наименований каждый год, гораздо больше, чем в СССР! А читать нечего. О сегодняшней *настоящей* литературе как-то неловко и говорить. Потому что добиться издания достойной рукописи сегодня практически невозможно. И это при том, что столько серьезнейших событий происходит в последнее время, и настоящие книги как раз очень нужны! То есть не пустые выдумки, а такие, которые честно описывают сегодняшнюю жизнь и заставляют *думать*. Издатели считают, что такие книги сегодня *никому не нужны*.

Однажды вышла статья известного литературоведа, кото-

рая так и называется: «Смерть писателя». Речь в ней не о судьбе какого-то конкретного автора, а – о сегодняшней нашей литературе вообще, а вернее о ее отсутствии! Он побывал на очередной книжной ярмарке, увидел там множество разных новых книг, но не нашел ни одной, которую можно было бы назвать произведением литературы. Сплошные руководства, мемуары сегодняшних «звезд» и медиа-персон или дешевые детективы.

То же можно сказать о живописи, музыке, театральном и киноискусстве! И это при том, что даже в Конституции нашей есть статья, которая фактически отменяет цензуру, а значит, казалось бы – убирает барьеры!

Так в чем же дело? Почему катастрофически разрушается культура в нашей стране? Стране многих и многих деятелей не только русской, но – мировой культуры...

Однажды я показывал свои изданные книги и статьи кому-то из близких знакомых и вдруг осознал: ни одна из моих книг не вышла нормальным путем, без чудовищных мытарств, потерь, искажений. НИ ОДНА! Ни в советской России, ни, тем более, в «постсоветской». Каждая книга – словно прорыв из жестокого вражеского окружения. То текст изуродован, то иллюстрации, то обложка. То же со статьями и вообще публикациями. Что же это такое? ПОЧЕМУ?

И это касается, естественно, не только меня.

Если же говорить обо мне, то я никогда не был ни анти-советчиком, ни злобствующим диссидентом, и все мои со-

чинения – о правде, чести, добре, красоте, любви! А в Союз Писателей меня приняли «вне очереди» и «единогласно» по единственной небольшой книжечке – о чем даже написала «Литературная газета»! А в книжку эту были включены рассказы и повести, написанные ВОСЕМЬ-ДЕСЯТЬ лет назад, странствовавшие по разным журналам и издательствам Советского Союза и получавшие отказы, отказы, отказы и совершенно дурацкие отзывы рецензентов! А вот после *опубликования* об этой книжке очень комплиментарно писали в прессе, и меня тотчас приняли в Союз...

Одна из рецензий на мои последующие книги называлась так: «Изготовление душ хорошего качества». Но и это не изменило отношения издателей к моим рукописям – лучшие из них мне по-прежнему возвращали.

Интересно, что на прочтение одной из моих повестей, *опубликованной* все же в популярнейшем «перестроечном» журнале «Знамя», выстраивались сотенные очереди в библиотеках! И я, и журнал получили сотни благодарственных читательских писем! В конце концов эта повесть заняла даже одну из самых верхних строчек в опубликованном списке бестселлеров времен «перестройки», а по некоторым «закрытым» данным *самую верхнюю*. Еще одну книгу, изданную в советское время, продавали исключительно в «валютных» магазинах «Березка»! Но...

Но ДО СИХ ПОР лежит неизданным *много больше половины* написанного, причем – я уверен! – *лучшее!* Сегодня, в

«двухтысячных», опубликовать «за свой счет» можно любую галиматью, но *нормальная* книга, даже если ее издать за свой счет, все равно утонет в мутном море тысяч и тысяч полуграмотных и бездарных изданий! Самое же печальное то, что люди *разучиваются читать*, теряют способность *воспринимать* читаемое, *думать* о прочитанном и вообще *мыслить*. Вот потому и названа была упомянутая статья так: «Смерть писателя».

Так что же у нас происходит?

Кроме писательства я больше полувека занимаюсь художественной фотографией. И что же? А то же самое! Мои наконец-то – с огромным трудом! – *опубликованные* цветные фотографии существ природного мира называли «вне конкуренции» (журнал «Семья и школа», 1986 г. и другие источники)... Чудом, случайно, изданный в 1995-м «альбом фотоживописи», куда вошла и так называемая «обнаженная натура» – не в качестве приманки или «соблазна», а *с уважением* к великой Природе и Красоте! – так и называли – «альбомом дивной красоты»! О нем весьма лестно для меня писали многие органы прессы, его хвалили в телепередачах! Однако...

Однако он так и остался *единственным* опубликованным моим альбомом. И до сих пор не опубликованы *многие тысячи* лучших цветных моих фотографий. Лучших! Но – *уважительных*, а не «коммерческих»! Дело в том, что уважение к природе, а особенно к красоте женского тела сегодня

– «не в тренде».

То же самое – с видеофильмами. Их у меня – десятки. Сотни гостей приходили в однокомнатную мою квартиру, восхищались и слайдфильмами, и видеофильмами под музыку, приглашали на просмотры своих знакомых, однако... Все это так и осталось в *единственном экземпляре*, несмотря на мои попытки.

И с рукописями, и с фотографиями положение сегодня одинаковое: в чести не лучшее, а *худшее*. Так называемый «постмодернизм», «приколизм», «развлекуха», «замануха», дешевые детективы, весьма далекие от *осмысленной* человеческой жизни... И чем глупее – тем лучше! Зато – «понятно народу!» К природе у нас относятся как к «окружающей среде», существующей исключительно для питания людей и для отдыха. А женским телом принято не восхищаться, а – *эксплуатировать* его, продавать, использовать для рекламы... и унижать чисто «физиологичным» подходом. Духовное, уважительное отношение ко всему «этакому» сегодня тоже – «не в тренде».

Если бы вакханалия «свободы» сопровождалась расцветом страны, улучшением жизни людей, можно было бы с ней как-то смириться, признав, что такова объективная реальность жизни. Но ведь нет же! Происходит явная деградация духовной жизни народа – *расчеловечивание*. А также чудовищное разделение людей на сверхбогатых и крайне бедных, *господ и рабов*. Неудовлетворенность жизнью, апатия, при-

митив и одичание расползаются во всех сферах. А в литературе и искусстве – особенно.

Раньше я, как и многие, думал, что причина происходящего – в деспотизме нашей советской идеологии, в которую все больше проникало лицемерие и ложь. Ну, а теперь-то что же? По новой Конституции вообще всякая идеология в РФ запрещена (статья 13), и у нас теперь, как говорят, другая – «свободная» страна! Так в чем же она другая и в чем она свободная?

Мы по-прежнему врем друг другу и даже самим себе. Думаем одно, говорим другое, делаем третье, а то и четвертое. Детям врут родители. Им же безбожно врут учителя в школе – согласно сегодняшним школьным учебникам. А правительственные чиновники и так называемые «олигархи» врут всем подряд – и самим себе тоже! Врут с важным, значительным видом, и чем наглее вранье, тем значительней вид. По телевизору и вообще в СМИ проскакивает иногда кое-что порядочное, но в основном – сплошная ложь, показуха, бездарность. И это не говоря о просто чудовищной по своей наглости и дебилизму рекламе, разбивающей на части любую телепередачу, а с ней и мозги телезрителей.

А о порядочности и честности большинства наших политиков и начальников говорить даже смешно.

Раньше хоть на своих кухнях люди говорили друг другу то, что думали, а теперь похоже, что кроме заработка, здоровья и выживания, люди не говорят и не заботятся ни о чем.

Так и хочется крикнуть изо всех сил: Эй, вы, опомнитесь! Неужели бабло, да одежка, да бирюльки ваши, да тачка-дачка-собачка – и есть главные радости жизни и ее смысл? Оглянитесь вокруг! Эй, мужики, на девчонок красивых полюбуйте, не принимайте их за товар, а милые девушки – умных и веселых любите, а не богатых и жадных! Да природу живую уважайте, да берегите ее, мать вашу! Да любите друг друга, сочувствуйте, помогайте, а не воюйте! И радуйтесь, пока живы! Хорошие книжки читайте, а не развлекуху да чернуху бездумную!

Да, Джек, в советское время опубликовать правдивую, добротную рукопись было трудно, однако, будучи опубликованной, она все же доходила до умов современников и хоть как-то прочищала мозги. Ее читали! О ней говорили! А теперь дошло до того, что почти во всех издательствах открыто говорят писателям: «Серьезная литература никому не нужна! Нужно то, что развлекает людей и что хорошо покупают!»

Издательства как государственные образования, несущие культуру в народ, у нас фактически перестали существовать. То есть издателей уйма – каждый может стать издателем! Однако сегодня это не издательства, а своеобразные коммерческие шарашки, которые обязательно – и прежде всего! – должны давать прибыль хозяевам. Фактически они ничем не отличаются от заводов и фирм, производящих кирпичи, обувь, колбасу, консервы, напитки, презервативы.

Тяжело больна, правда, не только наша РФ. Уже многим ясно, что весь мир сбрендил. Практически все «цивилизованные» страны полным ходом мчатся в пропасть. «Над пропастью во лжи» – почти по Селлинджеру!

Сейчас на дворе 2019-й. Надо ли уточнять, что мы – на грани Третьей мировой? А Вторая Отечественная война, по сравнению с будущей Третьей – цветочки... Накоплено столько ракет и всего другого, что жизнь на земле может погибнуть за один день – вот и ягодки будут! Приехали...

Но что же случилось? ПОЧЕМУ все так происходит?

Да, Джек, я пока что жив, хотя мне вдвое больше лет, чем ты прожил на этом свете. И я пока все же не думаю нырять в морскую бездну или прыгать с высокого этажа, хотя периодически очень и очень сочувственно понимаю твоего Мартина Идена и тебя. Больше половины написанного и многократно больше снятого, чем вышло к людям, лежит у меня неопубликованным. И это судьба не только моя, но – многих. А в мире творится ЧЕРТ ЗНАЕТ ЧТО.

Так вот, прожив довольно долгое время, многое обдумав, объездив вдоль и поперек бывшую Одну шестую, побывав за границей, изжив множество «комплексов», прочитав большое количество книг, газет, журналов, просмотрев несчетные фильмы, выдержав огромное число радио- и телепередач, со многими людьми пообщавшись, написав множество статей, рассказов, несколько повестей и романов, добившись даже опубликования некоторых, получив сотни пи-

сем читателей, пронаблюдав множество человеческих судеб, я считаю, что имею право высказать свое мнение о том, ЧТО ПРОИСХОДИТ и ПОЧЕМУ.

Ведь от природы нам столько дано! А мы живем в сущности хуже животных и готовы вот-вот уничтожить себя и весь мир. Но природа окружающая жива пока еще! Разум человеческий, наши чувства, женская красота, ласка и доброта – существуют! Дети радуют, пока не выросли и не научились лгать и гнобить друг друга! Не помню, кто, но явно же умный человек сказал однажды: «Мир создан Раем, и только мы, люди, превращаем его в Ад!». И еще: «Есть только одна истинная сила в жизни, и эта сила – РАДОСТЬ». Ты знаешь, Джек, вся моя жизнь подтверждала это!

Думаю, что если честно напишу все, что видел, слышал, что думаю по этому поводу, то мой «субъективный» опыт, глядишь, и поможет другим кое-что осознать с большей степенью объективности.

Разумеется, свои мысли и выводы я никому не навязываю. Пусть каждый воспринимает их так, как считает нужным.

Часть 1. Мое дерево

«Ни один человек тебе не друг, ни один не враг –
все твои учителя»

Восточная мудрость.

Ради чего?

Моряк Мартин Иден сначала о писательстве и не думал. Как я уже сказал, все началось с того, как он побывал гостем в одной «аристократической» семье и увидел молодую девушку Руфь. В которую влюбился. И ему ужасно захотелось войти в круг высокообразованных людей, к которому принадлежала та, что стала предметом его мечты.

Она любила литературу и с восторгом делилась с ним своими впечатлениями от прочитанного. Он же вдруг понял, что его жизненный опыт ничуть не менее богат, чем у тех, кто написал любимые ею книги. И ему тоже есть, что сказать! И он начал учиться и писать, осваивать эту нелегкую профессию... И в конце концов стал знаменитым писателем.

А я ведь тоже сначала влюбился в первую красавицу «женской» школы (сам учился в «мужской»)! Потому и начал вести дневник, в котором описывал вспыхнувшее во мне чувство...

Я не был моряком, однако жизнь с самого детства была у меня отнюдь не простая. Когда мне было шесть лет, началась Великая Отечественная война, а жили мы в Москве, к которой быстро приближались гитлеровские орды...

В июле 1941-го умерла от туберкулеза моя мать, а отец, похоронив ее, ушел на фронт. Вернулся инвалидом и вскоре погиб в автокатастрофе – мне тогда исполнилось одинадцать лет.

дцать. А в мои пятнадцать умерла и горячо любимая бабушка, которая была моим опекуном и которую я любил больше всех на свете. Я остался на иждивении двоюродной сестры, пенсию за меня платили грошовую. Жили в коммунальной квартире, с едой и одеждой, естественно, было очень и очень туго. В мою комнату сестра пускала жильцов – то одного, то двух, а то и троих, – и мне приходилось жить вместе с ними...

Но я читал книги, учился в школе, а в восьмом классе влюбился. Поговорить по душам было не с кем, и я сообразил, что можно ведь записывать в тетрадь то, что мучает или, наоборот, радует. Особенно же то, что я чувствовал к той девочке, которую звали Алла. Признаться ей в любви и как-то «действовать» я стеснялся...

Записывая то, что чувствовал, я вошел во вкус, мне все больше нравилось писать и читать потом то, что написал. Получалось, как будто я с кем-то беседую, открываю душу. А когда перечитываю, то снова переживаю – радуюсь или грущу – и к тому же могу увидеть, в чем прав, в чем неправ, чтобы поступать в будущем как можно лучше.

И постепенно я стал все больше склоняться к мысли, что стану писателем. Главным пожалуй, было и то еще, что с самого детства я стал замечать: окружающие взрослые люди какие-то странные. Хотят одного, а делают другое. Думают так, а говорят иначе. Стыдятся хорошего, а хвастаются дурным. Говорят, что любят, а сами ненавидят. Или наоборот.

Знают, что нужно делать то-то и то-то, а делают наоборот. То есть все время врут. Почему? И, начав писать, а потом и читать дневник, я подумал: может быть, смогу во всем разобраться?

Конечно, уже в последних классах школы я понимал: над всеми этими вопросами ломали голову многие ученые и мыслители. Я знал, что кое-кто в древние времена уже не раз пытался хоть как-то образумить тупых, бестолковых – и несчастных... – лгунов. Успехи, однако, невелики. Одного из тех, кто пытался (его имя Сократ), отравили, дав выпить яд – что он и сделал, спокойно приняв свою участь. Другого (Джордано Бруно) сожгли... Женщин побивали камнями (именно так, если не ошибаюсь, поступили с Гипатией из Александрии) или тоже сжигали (Жанна д'Арк и не только она...). А Христа распяли.

Вообще самых честных людей почему-то всегда уничтожали в первую очередь, а самых красивых и умных женщин считали ведьмами и если не забивали камнями и не сжигали на кострах, то просто душили или топили в воде. Поклонялись же, наоборот, наглым и лживым мужикам, то есть жестоким, властолюбивым, возомнившим себя избранными, «вождям». Или «священнослужителям», которые уверяли, что они «избраны Богом».

Мудрейшего и добрейшего из людей, со дня рождения которого идет современное летоисчисление, в свое время распяли на кресте, предварительно измучив до полусмерти и

предпочтя ему обыкновенного разбойника, вора. А потом подробное описание этого безобразия превратили в «святые книги», и вот уже 2000 лет якобы каются, хотя на самом деле по-прежнему продолжают делать все то же самое – распяли бы и сейчас за милую душу! А так называемые *молитвы* и *церковные службы* используют почти исключительно для того, чтобы, продолжая безобразничать, считать, что Господь их *прощает*. Истинно верующие люди есть, конечно, но их, увы, на самом деле немного...

Думаю даже, что мы вряд ли имели бы Евангелия, если бы Христос тогда не воскрес. На иудеев подействовал вовсе не великий и полезный смысл Его заповедей, а – ЧУДО, факт *воскресения!* И – страх перед Его могуществом: вот ведь, убить не смогли, хотя и распяли!

Молясь и повторяя строчки из Библии, почти каждый не столько думает о «*не убий, не кради, возлюби ближнего своего...*», сколько мечтает о каких-то реальных **ВЫГОДАХ ДЛЯ СЕБЯ**. После смерти само собой, а неплохо бы и здесь, при жизни! Конечно, легче постоять в церкви со свечкой, якобы каясь, или пробормотать между делом вызубренные слова молитвы, чем на самом деле *осознать* свое несовершенство и *делать* что-то действительно праведное, требующее постоянного напряжения и усилий!

Получается, что за две тысячи лет так ничего и не поняли? Поразительно, сколь фантастическое упорство, изобретательность, изворотливость проявляет большинство людей

не для того, чтобы сделать себя лучше, а – чтобы *оправдать* себя и *скрыть* от чужих глаз свою низость, свое несовершенство и свою лень!

Уже в юности меня начал занимать и такой вопрос: *зачем* мы живем? *Для чего?* Что *главное* в жизни? Образование, карьера, семья, дети? Именно это и считается главным, об этом даже и не задумываются. Но... Почему же тогда происходит то, что происходит? Почему столько лжи, насилия, зла вокруг?

Мартин Иден покончил с собой потому, что убедился: даже карьера свободного и честного писателя, о которой он так мечтал, не дала ему радости жизни. В Руфи, своей первой любви, он полностью разочаровался. Другая его подруга, простая девушка Лиззи Конноли, которая полюбила его, была безусловно выше в духовном плане, чем «буржуазная» Руфь Морз, однако заключать семейный союз с ней он не хотел, ибо его разочарование в буржуазных ценностях, в том числе и семейных, было полным. К тому же он очень устал от своей борьбы. Он утратил ощущение смысла жизни в окружающем мире! Когда он был свободным моряком, то был фактически счастлив и наслаждался жизнью. Но когда он приобщился к ценностям современного буржуазного общества, то понял, что там царит сплошная ложь.

Именно этот вопрос и волновал меня как увлеченного читателя романа Джека Лондона больше всего. Так в чем же *истинный* смысл жизни? – думал я.

И я пытался понять это, размышляя и честно описывая свои впечатления от происходящего со мной и вокруг.

«... У метро стихало воскресное оживление. Люди расходились, разъезжались по домам, прощались – все еще праздничные, нарядные в ярком электрическом свете. А я – одетый в поношенную штормовку, с потертой сумкой и с удочками – был уже не от мира сего.

В пустых по-ночному вагонах метро дремали одинокие пассажиры, устало светили лампы, медленно набирал ход, мчался машинально и, не спеша, останавливаясь сонный поезд.

Среди полутемных платформ вокзала я нашел свою электричку, сел в вагон. У горизонта уже начинало светлеть. Когда вагон дернулся и привычно застучали колеса, я прислонился к стенке и задремал.

Что было потом?

... Я шел по длинной пустой дороге. По обеим сторонам ее стояли дома, серые, равнодушные и как будто пустые. Уже рассвело. Руки мои в неуверенном, робком свете были чуть фиолетовыми и холодными – так всегда бывает в ранние утра.

Дома скоро кончились, начались поля, овраги, кустарник. Я казался себе маленьким и одиноким, я ощущал беспредельность земли: все эти пригорки и овраги, поля и леса, болота и реки на обширной поверхности, уходящей за горизонт.

Надо мной бесшумно, неотвратно свершалось непереносимое: менялись краски, розовело небо, и я ощущал, я чувствовал, как огромная наша планета медленно поворачивается, подставляя остывший за ночь бок солнцу.

Не чувствуя ног, я летел, как на крыльях, и воздух переполнял легкие. В кустарнике у дороги щелкали соловьи.

Потом был ослепительный день. Искрящаяся рябь на воде, убаюкивающее покачивание, непрерывный плеск волн о лодку, словно кто-то легонько постукивает о ее дно, солнце, солнце и душистая тень прибрежного леса. Отчего так пахнет в гуще берез? Я нюхал ветки, растирал листья между ладонями. Откуда этот цветочный запах, когда вокруг нет цветов?

Я плыл по большому водохранилищу с его бесчисленными притоками, бухтами, островками; приблизился к берегу там, где над тихой водой свисали ветви деревьев, пробовал ловить рыбу, хотя клева не было. Я наломал веток лиственницы с прошлогодними сухими шишками и поставил их в бадейку для рыбы, затем добавил еще веток березы... Лодка моя была моим домом, крошечным плавучим островком – пусть не скорлупкой, затерянной в волнах океана, но все же бесконечно одинокой среди заливов, проливов и плесов...

У одного из берегов обнаружил маленькую уютную бухту. Вылез на берег, разделся совсем и теперь ходил в зарослях, как первобытный человек, оглядываясь, правда, чтоб не попасться кому-нибудь на глаза. Здесь росла лиственни-

ца, большие кусты рябины, необыкновенно крупно цветущий боярышник, мощные, раскидистые акации, не было привычной осины, ели, сосны. Сказочные, волшебные кущи... Птицы кричали наперебой, а у меня кружилась голова. Я чувствовал себя пьяным от теплоты, от воздуха, пахучего и густого, я не ощущал своего тела – я растворился в окружающем...

Потом купался, сойдя по острым камням в теплую, ласковую воду залива. Плыть было необыкновенно легко. Я переворачивался на спину, закрыв глаза и лицом ощущая прикосновения солнца, нырял в зелено-желтую тусклую глубину, а оказавшись на поверхности, вновь радостно отдавался слепящему свету и находил глазами уютную бухту и лодку в тени акаций. Счастье, настоящее счастье...

...Были еще купания, странствия по своим владениям, отдых в пятнистой тени дерева. Потом я вдруг почему-то решил, что пора ехать домой. Легко и быстро работал веслами, пружинисто сгибаясь и разгибаясь, и лодка моя летела. Удалилась бухта, тень акаций, долго была видна еще большая береза на берегу, потом все сравнялось в темно-зеленую полоску, и стало грустно. Захотелось вернуться. Я развернул лодку, она закачалась часто и беспокойно, заплескались волны, солнце теперь стало бить в лицо, я взмахнул веслами несколько раз... Нет, не надо! Пусть останется все как было, пора действительно ехать домой.

И опять полетела моя лодка, я обгонял других рыбаков,

а выходя на берег у рыболовной станции, старался сделать вид, что в сумке у меня кое-что есть. Единственную плотвицу, пойманную утром на хлеб, я давно уже выбросил в воду.

Отчего, отчего так пахнет в гуще берез? Откуда этот цветочный запах, если вокруг нет цветов?

Тот давний июньский день был одним из счастливейших дней моей жизни».

(Из рассказа «Запах берез», 1959 г.

(сборник «Листья», 1974 г., изд. «Советская Россия»)

Школа

Прочитав в первый раз «Мартин Иден» Джека Лондона еще в школьные годы, я почувствовал, что то, о чем написал американский писатель, касается меня лично. Герой книги, Март Иден, как и я, любил жизнь – природу, путешествия, женщин, дружбу...

Но, став знаменитым писателем, Мартин страдает и даже кончает с собой от того, что ему становится ясно: большинство людей только делают вид, что живут! А сами бездумно, убого, безрадостно *существуют*. И постоянно врут! В конце концов он понял, что помогать трусливым тупым существам, просвещая их, бесполезно, и в конце концов ему все надоело. Он сел на пароход под названием «Марипоза», чтобы плыть на остров Таити и жить там среди тропической природы. Но вдруг, под влиянием стихотворения Суинберна которое он читал в своей каюте, ему в голову пришла мысль, подсказавшая простейший выход из всех переживаний и разочарований последнего времени – некий «спасительный ключ». Иллюминатор его каюты был недалеко от поверхности моря. Он открыл иллюминатор, протиснулся в него и... нырнул в море. И изо всех сил постарался уйти в глубину так, чтобы потом не вынырнуть...

«Неужели все бесполезно? – думал я, от всей души сочувствуя Мартину Идену. – Неужели мир наш и правда так

плох?».

И все же все во мне было против его поступка. Я чувствовал, что Мартин Иден не прав! Мир наш все-таки не настолько плох, а люди лучше, чем он о них думал, считал тогда я. А о природе, о красоте, о чистых взаимоотношениях между мужчинами и женщинами и говорить нечего – они же прекрасны! Просто Мартин, да и сам Джек Лондон, оба надорвались в своих напряженных писательских трудах, к тому же чего-то ни тот, ни другой так и не поняли в жизни. А в Америке тогда был *расцвет капитализма*, царство Желтого Дьявола, как окрестил его наш Маяковский! И очевидно, что Мартин Иден, так же, как и сам Джек Лондон, были в какой-то мере во власти его...

«Мы пылинки, мы щепочки в океане вселенского бытия, это ясно. Да, нам дан разум, память, совесть – то есть связанность со всем сущим, – свобода воли дана как будто бы тоже. Но что мы можем знать о судьбе своей, на что твердо рассчитывать, что знаем вообще о жизни – откуда мы? Зачем? Для чего?»

Людей миллиарды на земном шаре, живых, а сколько «ушедших» – таких, например, как я? Хотя, как ни странно, других «виртуальных возвращенцев» я пока еще не встречал.

Но почему меня вернули сюда и почему я теперь вижу, слышу, чувствую все, что происходит вокруг, даже погружаюсь в сознание, а то и в тела своих новых знакомых? А

они не видят, не слышат, не ощущают мое присутствие. Им и в голову не приходит, что я рядом, а то и заодно с ними... Я читал о таком, предполагал, что такое может быть, фильмы есть на такую тему фантастические. Но чтобы со мной...

А еще меня бросает туда-сюда и в пространстве, и во времени...

Задумался я обо всем этом, и... Да, я в прошлом своем опять! Не дает оно мне покоя! ЧТО произошло со страной моей? И ПОЧЕМУ?

Знаменательную ночь вспоминаю. В 1986-м? Да, именно. После «проводов».

– Это мысль! – вслух произношу я, внезапно проснувшись среди ночи и садясь в постели. Что-то родственное этой мысли снилось и снилось мне в разных вариациях перед тем, но тут вдруг оформилось и четко представилось в форме уже и определенной программы.

– Чертовски любопытно, на самом деле, – тихонько повторил я тогда. – Как они все? Они ведь крестники мои, можно сказать, чуть ли даже не дети!

1986-й год. Мне – 66. Профессор-хирург. Теперь – на пенсии.

...В стране происходило уже что-то странное, и я собственно говоря, ждал вполне вероятных «проводов», считал, что готов к ним. Но не думал, что будет именно так – прозаично и – неотвратно, как приговор. Те, что на «про-

водах» выступали с тостами, старались говорить красиво, некоторые действительно искренне – я знал, что в Клинике многие меня любят, ценят. Но теперь, вспомнив, как говорил и вел себя Горловский, я содрогнулся. Лживо, напыщенно и словно бы даже с торжеством, скрытым, разумеется, он говорил. И поглядывал на меня с таким лукавым прищуром. Он давно копал под меня, очень хотелось ему быть не заместителем (хотя и парторгом в то же время), но – Главным. Правда, и в Минздраве какие-то новые, странные люди... Да, уже тогда что-то непонятное начало происходить в стране.

И вот – я пенсионер. Торжествует Горловский!

Но если бы только со мной происходило такое. Очень многие люди лишились своих постов, причем – что интересно! – люди именно толковые и не агрессивные. Почему? Ведь «перестройку» провозгласили ради улучшения, а вовсе не разрушения. Да, менять многое надо в стране, людей ставить молодых и толковых, стариков из Политбюро вытеснить. И не только из Политбюро. Но ведь не в возрасте же дело, в конце концов! А в чем, если вместо стариков частенько ставили стариков тоже? Горловский, кстати, мне ведь почти ровесник.

Но тогда я, как и многие, и предположить не мог, что будет потом в стране, во что выльется, до чего дойдет.

Наутро я проснулся свежим и почти что радостным. Пенсионер-то пенсионер, но зато свободен! Учениками сво-

ими займусь, лекции буду читать и практику вести где-нибудь. Статьи буду писать, а может быть и книгу. Прочитать многое хочется – раньше времени никак не хватало...

А теперь еще и эта интересная, прямо-таки захватывающая идея! И время будет, чтобы ее воплотить!

Тут же я стал думать, с чего, то есть с кого начать. Ведь они же действительно в какой-то степени мои дети – я в буквальном смысле подарил им жизнь снова! Вот и вопрос: как они ею распорядились?

И главный вопрос мой остается: ради чего?

Вошла Катерина – она спала в соседней комнате. В последнее время я плохо спал, часто просыпался среди ночи, порой вставал, чтобы записать что-то, а Катя неизменно просыпалась следом за мной, трудно засыпала потом, и хорошего отдыха у нее не получалось. Вот мы и расселились по разным комнатам.

– Ты знаешь, Катя, что мне пришло в голову ночью? – сказал я. – Интересная мысль!

– Какая же?

– Понимаешь, то ли в Китае, то ли в Японии, обычай был в древности. За спасенных всю жизнь потом отвечали. Спас человека от смерти – значит, вмешался в Судьбу. Вот и отвечай за него! Разумно ведь, правда? Вот я и подумал... Что, если... Время будет у меня сейчас. Взять да и сходить к некоторым моим пациентам бывшим, а? Которых я когда-то с Того Света вытащил... Ведь сколько их было! Лю-

боятно, как живут, что делают. Интересно, правда? Ради чего все?»

(Из романа «Пациенты», начатого в 1967-м, а законченного в 2017 г.)

Да, чуть ли не с самого детства я привык обвинять в своих неудачах прежде всего себя самого, а не обстоятельства и не других людей, которых я, как правило, считал не хуже себя, а иногда даже лучше. И всегда я старался *оправдать* тех, кто поступил, может быть, не очень хорошо, но – в силу плохих обстоятельств.

Себя же я, наоборот, не оправдывал, а пытался извлечь опыт из своих ошибок. Чтобы таким образом приобретать знания и становиться лучше.

Ясно же, что Мартин Иден в чем-то ошибся, что и привело его к трагическому финалу, думал я. Когда-то отец сказал мне: «Вести себя надо так, как будто кто-то постоянно наблюдает за тобой. Не враг, а друг. И чтобы тебе не было стыдно за то, что ты делаешь». Я на всю жизнь запомнил эти слова. Всегда ведь есть выбор, и всегда можно найти тот или иной выход из трудного положения! Весь вопрос, конечно, в том, какой выход найти... Вот над чем надо думать!

Многое не нравилось мне в поведении окружающих. Но все-таки прежде, чем осудить их, я всегда пытался понять, ощутить себя на их месте, осознать их точку зрения, представить себе обстоятельства, в которых они оказались... Мо-

жет быть, они не случайно так себя ведут? Может быть, окажись я на их месте, вел бы себя ничуть не лучше? Понять надо, прежде всего понять! Это – главное.

«...Сомнение – опасная вещь. Однажды появившись, оно может не оставить человека, пока не разрешится так или иначе. Начавшись с отношения к пациентам, сомнение Николая Васильевича Глазова переключилось на Клинику вообще, на весь ее персонал, и чем больше он, Глазов, наблюдал, тем мрачнее становился. «О, времена, о, нравы...» Раньше он только действовал, не рассуждая, продираясь, так сказать, сквозь топи и заросли, у него мало времени оставалось, чтобы как следует оглядеться. Лишь каким-то чутьем он угадывал верный путь – по крайней мере ему казалось, что верный. Вообще-то говоря, он многого добился. Но вот того ли добился, чего хотел? Нельзя все время только продираться сквозь препятствия. Когда-то не плохо бы и оглядеться и посмотреть: а куда же ты, дорогой товарищ, стремишься? А с Клиники сомнения Глазова распространились уже и на все его окружение и на всю прожитую им долгую все-таки жизнь. «Самоотверженную и героическую», как изволил выразиться аж сам Горловский на вчерашнем банкете по случаю ухода на пенсию Главного врача Клиники Николая Васильевича Глазова, многократно премированного, высоко «остепененного», в какой-то степени даже обласканного власть предержащими...»

(Из романа «Пациенты», 1971 г. (первый вариант))

Итак, я видел: есть много такого, в чем обязательно нужно разобраться. Тем более – есть о чем писать! Хотя какие конкретно события описывать, кроме моей любви к Алле, сообразить я пока что не мог. Главное – разобраться в своих чувствах и мыслях! И еще: очень непросто порой понять, где правда, а где ложь.

Одни говорят одно, другие другое... Кому верить? Ведь люди часто, как попугаи, повторяют чужие слова и мысли, с уверенностью выдавая их за свои! Зачем?

Но я слишком мало жил, вот в чем дело! Чтобы стать настоящим писателем, надо сначала пережить всякого как можно больше! Тогда, может быть, и станет кое-что ясно?

В чем я был уверен абсолютно, так это в том, что жить надо как можно активней, разнообразней! Ведь вокруг так много интересного! Я, например, просто дрожал от восхищения, глядя на цветы, на листья деревьев, на траву, на бабочек. И, конечно, на девочек... Я читал книги и был в восторге и от того, что мы проходим в школе: литература, история, химия, физика... Интересно все это!

И что характерно: уже тогда я как-то инстинктивно чувствовал неприязнь к пустым выдумкам в книгах, если они имели мало общего с реальной жизнью. Ведь некоторые писатели так называемые сплошь да рядом врут напрапалую! Мне же гораздо – несравнимо! – интересней то, что вокруг

на самом деле! Каждый день жизни, каждая встреча, поездка куда-то, каждая книга были для меня событием! Помню, что я с завистливым трепетом смотрел на какого-нибудь пожилого человека с морщинистым лицом и «бывалым» взглядом. Сколько он повидал, как много знает! Вот он может сравнивать, он может понять, где правда, где ложь. Скорее бы и мне...

Начало

Учиться в школе было интересно, а потому и предметы легко давались. И учителя относились ко мне в основном хорошо. Зубрилой я не был никогда, но уроки все же аккуратно готовил. Не хотелось быть отстающим, это ведь унижительно! И получал в основном пятерки. Отличники и «хорошисты» в нашем классе были скучные и занудные, а потому в друзьях-товарищах у меня были, как правило, троечники. Мы ездили на рыбную ловлю, даже на охоту, а то и просто так – за город. Праздники обязательно отмечали в компаниях... Выбирали меня и «старостой класса», и комсоргом... Закончил школу с Золотой медалью.

По окончании школы я решил поступать не в Литературный институт и не в какой-нибудь филологический. И даже не в биологический, хотя биологию обожал: выращивал по советам бабушки комнатные растения в горшках и консервных банках, разводил рыбок в аквариуме, постоянно держал каких-нибудь птичек в клетках, а еще морских свинок, белых мышей, однажды завел террариум с лягушками и тритонами. И читал обо всех них в разных книгах...

И решил я еще, что, кроме писательства и биологии, займусь тем, что было в такой моде в то время – физикой! Как раз прочитал тогда великолепную книгу американского писателя Митчелла Уилсона «Живи с молнией!» и – заразился

любовью к физике. Меня очаровывал, гипнотизировал мир «микрочастиц» – путешествие в глубины материи...

Чехов был врачом и писателем, Бородин химиком и композитором. А я буду физиком и писателем!

С Золотой медалью поступать можно было куда угодно и даже без экзаменов, пройдя только лишь собеседование. И я выбрал Физический факультет Московского университета имени Ломоносова – это было тем более привлекательно, что как раз только что было выстроено высотное здание МГУ на Ленинских горах! С успехом прошел собеседование и стал студентом.

Дневниковых записей к тому времени накопилось много, а вот законченного рассказа не получалось никак! Жизнь вокруг меня (и во мне) была разнообразной, многозначной и интересной, выделить что-то «законченное» и ясное по мысли никак не получалось...

Дошло до того, что я пытался превратить в рассказ какой-нибудь известный анекдот. Но это было не интересно, тем более, что это ведь не со мной происходило, а выдумывать что-то по-прежнему не хотелось. Я должен писать что-то свое, и правду, обязательно правду! Все как есть на самом деле! Я ведь даже в разговорах с ребятами терпеть не мог пустой болтовни и лжи. Зачем терять драгоценное время жизни на какие-то глупости и пустой выпендраж?

Дневник я вести продолжал, а вот более-менее настоящего рассказа не получалось никак.

Университеты

Учиться в Университете мне не понравилось сразу. Нужно было заучивать множество того, что вряд ли понадобится в жизни. До свободных путешествий в глубины материи дело никак не доходило. К тому же атмосфера казалась мне весьма неприятной – слишком связывающей, несвободной. Бесконечные зачеты, экзамены, отметки о посещении лекций и семинаров. Большинство преподавателей вели свои предметы иногда с каким-то высокомерным агрессивным напором, а порой наоборот – тоскливо и скучно. На девушек, на природу вокруг вообще никто, казалось, не обращал никакого внимания. Что-нибудь еще, кроме сидения на лекциях, существует в жизни или нет? Или все только в этих каменных стенах теперь?

От студенческих лет я ожидал совсем-совсем другого! Одно спасение – поездки за город просто так или на рыбную ловлю...

«Тикают ходики. На них – половина второго. Ночь. Андрей Гаврилыч уже встал, поблескивает очками, одевается. Керосиновая лампа освещает угол печки, деревянный стол, табуретку. Все кажется желтым. На столе шумит самовар. Хозяйка приготовила его еще с вечера, а теперь встала, кряхтя, раньше всех и разожгла угли. Проснулась кошка и,

мяжкнув, стукнула об пол всеми четырьмя лапами – прыгнула с печки. Надо кинуть ей кусочек колбасы.

Андрей Гаврилыч снова опередил меня: выпил чай и уже собирает свой чемоданчик. С нами пойдет хозяин, старик с большой рыжей бородой.

Пальто очень тяжелое – сразу становится жарко. Загремела задвижка. Хозяйка провожает нас с лампой. Пискнула дверь, пахнуло морозным воздухом.

– Эка, вызвездило как! – глухо доносится голос старика-хозяина.

Валенки сухо скрипят по снегу. У нас с Гаврилычем специальные рыболовные чемоданчики на полозьях. Дед ничего не берет с собой – на чем же он будет сидеть около лунки? Мороз щиплет ноздри, сковывает щеки. В избе еще горит огонек. Сейчас хозяйка погасит лампу и ляжет спать.

А мы вступили в огромный холодный мир. Щедро светит луна. Наши голоса звучат тихо, но разносятся далеко, и тишина от этого кажется еще более полной и немного пугающей. Все голубое, и чудится, что все вокруг околдовано лунным светом, что избы, луна, деревья и даже заиндевелившие провода замерли не просто так: они разыгрывают таинственное представление. Темные дома деревни – даже окон не разглядишь – загадочно насторожились.

Первым шагает дед. За ним торопится Гаврилыч. Его чемоданчик катится мягко, иногда сползает в сторону. Я последний. Дорога блестит призрачным светом, повизгивает

слежавшийся снег. Декорации двух цветов – черного и голубоватого...

Мы идем уже очень давно. Луна ушла дальше, скрылась за лесом – у нее там, наверное, другие дела. Но оказывается теперь, что и без луны можно различить спину Гаврилыча, деда с палкой, дорожку. Откуда-то сочится неуверенный свет: робко вырисовываются осинки, мохнатые лапы елей, хрупкие кружева кустарника. Откуда он, этот свет? Может быть, снег начинает светиться?... Становится еще светлее, бледнеет небо – и все теперь просто и ясно.

Справа над верхушками елей начинает краснеть, словно зарево. Или кто-то зажег огромный костер?... Опять – как в сказке: сейчас придет волшебник... В прозрачно-зеленой глубине одна за другой тонут звезды. Снег зеленоватый и тени на нем зеленые. Выплыли из-за леса багряные облачка, выстроились, словно придворные, для встречи Солнца... Чиркнуло поверху, и загорелись, засверкали заснеженные макушки деревьев. Тотчас ворохнулась какая-то птица на ветке, заверещала радостно. С ветки посыпался снег...

Лес неожиданно кончился. Перед нами, чуть внизу, большое белое поле, ровное и нестерпимо яркое на солнце. Водохранилище. Тысячи, миллионы снежинок – и каждая сверкает отдельно от других, отражает блеск солнца, переливается в его лучах. Множество радуг. Мы спускаемся и идем по нетронутому снегу. На том берегу за четкой строчкой кустов толпятся деревенские избышки. Крайняя изба сто-

ит у самого берега. Блестит заснеженная крыша, из трубы вьется дымок. Он поднимается вверх сизым султаном – примета, что день будет хорошим. А дальше, за деревней, туманная линия леса. Великий волшебник – Солнце. Пришел и расколдовал...

Почти у самого берега дед останавливается.

– Начне-о-ом, пожа-алуй, – нараспев говорит Гаврилыч.

– Начне-о-ом! – тянем мы хором.

Становится весело. Гаврилыч плюет на руки и первым начинает долбить лед. Я долблю шагах в двадцати от него. Скоро в лунку с шумом вливается вода. Я вычерпываю льдинки, а потом достаю удочку, усаживаюсь на чемоданчике, насаживаю на крючок мормышки рубинового мотыля.

Я знаю: предстоит день морозный и яркий. Предстоит день полный чудес.

Чудеса начинаются сразу...»

(Из рассказа «Зимняя сказка», 1959 г.

(сборник «Листья», 1974 г., изд. «Советская Россия»)

Подружился я с одним из студентов своей группы, Пашкой Васильевым. Он тоже когда-то хотел стать писателем, пытался сочинять рассказы, кое-что у него получалось, главным образом – о девушках. Но все же он решил оставить это дело и заняться исключительно физикой, тем более, что голова у него работала хорошо – он сдавал университетские экзамены на пятерки. Но он, как и я, терпеть не мог окружа-

ющей лжи.

– Все равно никто не будет печатать то, что мы с тобой напишем! – зло говорил он. – Ты же видишь, что у нас нет литературы, все врут, никто правды не пишет. Бесполезно!

Я спорил, упорно повторяя, что от правды все равно не уйти, рано или поздно тайное станет явным. Но уверенность моя была скорей подсознательной, инстинктивной, потому что реальные факты, наоборот, подтверждали его правоту. Мы оба прекрасно видели, как хозяйничает у нас цензура.

Литературы современной и настоящей действительно было немного, все дружно ввали по указке партии или «интеллигентно недоговаривали». А о Шолохове, к примеру, говорили, что не он написал «Тихий Дон», а некий Крюков, который умер, а Шолохов, будто бы, воспользовался его рукописями. А Александр Фадеев, автор «Молодой гвардии», которой зачитывалась страна (и я тоже), как утверждалось теперь, был стукачом, подручным партийных вождей, уничтожавших писателей, которые пытались не врать. Поэтому он и покончил с собой. Так это или нет, но все равно открылась бездна бесчестия и вранья – особенно после знаменитого доклада Хрущева на XX съезде «О преодолении культа личности Сталина и его последствий».

«... Чудеса начинаются сразу. Первое чудо – лунка. Ее зеленоватое пятно многозначительно темнеет среди ледяных осколков. Это – окно в неведомый мир. Мне представляется,

как там, в тусклой оливковой глубине, среди причудливых зарослей подводных растений, плавают рыбы. Полосатые окуни с красными плавниками, серебряные плотицы, щуки – я видел их во сне. Да-да, я вспоминаю, как именно прошлой ночью в избе видел огромных глазастых рыб, которые с жадностью набрасывались на мою мормышку, дергали во все стороны, мешали друг другу...

На конце гибкого можжевелевого удилица поблескивает серый хоботок пружинки. Из хоботка выбегает леска и скрывается в воде. В глубине – мормышка. Все это – от мормышки до моего плеча – представляет собой чуткий механизм: стоит рыбе коснуться наживки – пружинка качнется, и рука мгновенно сделает подсечку. Однако поклевки почему-то нет.

Я смотрю вокруг. Все так ярко, что больно смотреть. Слева от меня, сгорбившись, сидит Гаврилыч. Он неподвижен: вероятно, тоже нет клева. Дед стоит сзади, шагах в пятидесяти, и сосредоточенно «блеснит». Кусочек бороды его освещен солнцем и горит так, что мне кажется: деду жжет подбородок.

Вдруг рука моя ощущает слабый толчок. Механизм срабатывает, и я чувствую, как натянулась леска... Подпрыгивает сердце, останавливается и, лишь когда я вытаскиваю маленького окунишку, начинает снова биться. Он невзрачный, полосатый – граммов на двадцать – однако это «почин». Я отцепляю его от мормышки, небрежно бросаю

рядом с лункой. Этот бойкий подводный житель, который теперь весь извалялся в жемчужном снегу, – второе чудо...»
(Из рассказа «Зимняя сказка»)

Некоторая оттепель, во время которой просочились кое-какие свидетельства о прошлом, вскоре опять сменилась морозом. Да и в оттепель полной правды, похоже, не говорилось. Было совершенно ясно, что последними настоящими писателями на Руси были те, что родились до Революции. Но и из них многие были фактически под запретом, не говоря уже о том, что кого-то уморили в лагерях или просто-напросто расстреляли, а кто-то вынужден был эмигрировать.

Да, как это ни казалось странным, но больше всего боялись у нас именно правды! Даже вполне «советских» – таких, казалось бы, безобидных «природолюбов», как Пришвин или Паустовский, не очень-то жаловали партийные власти. Эти писатели считались не очень серьезными, они «преступно уваливали» от участия в борьбе коммунистов за Светлое Будущее и от описания решающей роли Партии в жизни Страны Советов! О произведениях же таких писателей, как Бунин, Набоков, Булгаков, Платонов мы вообще знали лишь понаслышке.

Обо многом говорили мы с Пашкой, во многом были согласны друг с другом. Правда, он резче меня относился к тому, что у нас происходит. Он ненавидел советскую власть, не верил ни в одну из «ленинских идей». Он считал, что люди

рабы по своей природе и если и напоминают кого из животного мира, то в лучшем случае червей. Такие же безмозглые, но, к тому же еще, и послушные – «Все, как один!»»

С горечью воспринимая многое из того, что вокруг, я вынужден был с ним соглашаться. Но не мог не видеть, что кое в чем он все же неправ. На все есть свои причины! Ведь по отдельности люди, наоборот, чаще всего хорошие, а поступают глупо или подло сплошь да рядом по слабости или по неразумению. Нельзя обвинять всех скопом! Иной раз достаточно поставить себя на место человека, поступившего плохо, увидеть обстоятельства и причины его поступка – и становится ясно, что надежда на лучшее есть! Плохо устройство общества – это во-первых! А во-вторых, люди *привыкли* врать – их этому учат с детства! Выход есть: надо всем думать над тем, как сделать устройство общества лучше, а самим стараться не врать! Начинать надо с себя – думать своей головой и – учиться!

И я потому еще не соглашался с Пашкой, что видел: он сам поступает далеко не всегда хорошо. И врет. Как же можно так резко судить других, если ты сам не безгрешен? Прежде всего ты должен сам отвечать тем требованиям, которые предъявляешь другим.

Теоретически Пашка со мной соглашался. А практически сплошь да рядом не признавал своей неправоты. По какой-то странной закономерности он судил себя гораздо мягче, чем других. Это-то и сбивало с толку.

Вообще мир казался мне заколдованным. Главным колдовством было вранье.

Эта тема и представлялась мне теперь основной в будущих моих сочинениях.

– Как ты представляешь свое литературное деревце под сенью советского баобаба? – ехидно спрашивал Пашка.

– Мое дерево будет рядом и не под сенью вовсе, – не слишком уверенно отвечал я.

Пашка презрительно хмыкал.

Не нравилась мне унылая университетская жизнь! Дошло до того даже, что я стал организовывать так называемые «вечера группы» – с кем-то из приятелей-студентов мы приезжали в какой-нибудь вуз, где, по слухам, учится много девочек, и в перерыве между лекциями подходили к какой-то понравившейся нам студентке. Показывали свои студенческие билеты и говорили, что у нас на Физфаке учатся одни парни, а потому мы хотим организовать «вечер группы в общежитии МГУ» и хотели бы пригласить на него «девченок из вашего института, человек пять-шесть». Как правило, это срабатывало, мы назначали встречу у метро, а там говорили, что гостиная общежития занята – внезапно приехали иностранцы... Но мы можем собраться на квартире одного из наших студентов. Девчонки, как правило, соглашались, и мы все ехали в мою коммуналку, где уже собрались трое-четверо моих приятелей или студенков-жильцов. Комната моя была всего-навсего 20 квадратных метров, но мы

– человек 8-10! – ухитрились в ней поместиться и даже танцевать и играть в какие-то игры! Сейчас трудно, наверное, в такое поверить, но так – было! Завязывались знакомства, и в принципе это всем нравилось! Главное же – это была хоть какая-то альтернатива университетской занудности!

Кое-как дотянув до третьего курса, я решил уйти из Университета – ринуться в жизнь по-настоящему! Я не хотел становиться рабом, винтиком какой-то социальной машины, к тому же быть безрадостным импотентом, а все больше ощущал, что в университете именно к этому шло. Ведь при всем, при всем я никак не мог преодолеть своего инфантильного целомудрия...

«Утро. Мне – шестнадцать. Я иду на Москву-реку. Несколько дней назад я научился плавать и – радостный, бодрый от ощущения того, что умею еще что-то, – я иду купаться.

Солнце только-только взошло, и воздух чист и прохладен, как бывает лишь в самое раннее утро томительного жаркого летнего дня. Пересекаю шоссе, прохожу сквозь знаменитый Кунцевский парк с его вековыми деревьями и по крутому, с глинистыми обрывами, берегу спускаюсь к реке.

Совсем недалеко от меня – две девчонки лет по четырнадцати. Они пришли, видимо, недавно: разделись и, тоненькие, стройные в своих черных тугих купальниках, нерешительно стоят у воды. Наконец, одна из них пробует паль-

цами ноги воду.

– Ой, как молоко! – говорит она.

И вот они уже, решившись, с визгом, с разбегу всплывают реку. Брызги летят далеко, и мне кажется, что несколько прохладных капель падает на меня...

А я все это время серьезно, сосредоточенно, делая вид, будто мне совершенно безразлично присутствие каких-то девчонок, раздеваюсь, поправляю плавки и мужественно, не дрогнув, вхожу в воду. Затем, вытянув перед собой руки, отталкиваюсь от дна и плыву на ту сторону – деловито, словно плаваю я давно.

Лишь на середине реки, когда и тот, и другой берег непривычно и жутко далеки, а девчонок из-за волн я не вижу, – лишь в этот момент я чувствую стыдную неуверенность и думаю, что сейчас обязательно наглотаюсь воды или вот-вот сведет ногу... Но вот уже тот берег близко – я пытаюсь встать на дно, но дна нет, взбалтываю ногами еще несколько раз, и – вот она, победа!

Часто бьется сердце, но я счастлив – все-таки переплыл! – и оборачиваясь назад, я вижу две маленькие знакомые фигурки...

Но что это?! Девчонки одеваются – значит, накупались и собираются домой? Да, похоже, что так. И мне вдруг становится очень тоскливо, со страхом думаю, что надо ведь плыть обратно, а я остался совсем один... Да, девчонки оделись и, балансируя, карабкаются по береговому обрыву.

– Эй, подождите! – хочется крикнуть им. – Посмотрите, как я поплыву назад! Видите, я научился плавать!

А они уже взобрались и... потерялись среди вековых деревьев парка.

Я стою еще некоторое время – мне холодно, кожа покрывается зябкими пузырьшками. Захожу в теплую воду, отталкиваюсь от дна... И мне по-настоящему страшно теперь: кажется, будто совсем не приближается мой берег, а я устал, и сейчас уж наверняка начнет сводить ногу...

*Усталый, грустный, полный непонятной обиды, я вылезаю на берег и медленно бреду домой. И почему-то никакой радости нет от того, что **ВПЕРВЫЕ В ЖИЗНИ** я переплыл большую реку...»*

(«Девчонки», 1956 г.)

Едва покинув университет (уйдя с третьего курса), почувствовав сумасшедшую радость освобождения, «возвращения к себе», я почти тотчас «сформулировал» два первых рассказа: «Зимняя сказка» и «Запах берез». О том, что было мне хорошо знакомо и горячо любимо – о природе и рыбной ловле.

Это в понимании литературоведов были, вероятно, не рассказы вовсе, а «зарисовки», но в них я ощутил некоторую законченность, и они мне самому очень нравились. Конечно, я понимал, что многим они покажутся «несерьезными», «легковесными», но по крайней мере в них была безусловная

– с моей точки зрения – правда! Любовь к жизни и поэзия этой самой жизни – в противовес ненавистной «социалке». Разумеется я вылизывал их до последнего слова, добиваясь, во-первых, соответствия написанного тому, что чувствовал, а во-вторых некой музыки прозы, то есть внутреннего ритма... Это – правда, а не то, что нам постоянно впихивают по радио и в газетах! Правда существования в этом мире, правда искренних ощущений и чувств!

Еще я написал «рассказ-очерк» о встрече с мужиком, продававшим наловленных на блесну окуней на московском Центральном рынке – о том, как познакомился с ним, а потом, когда ушел из университета, поехал к нему в гости на Рыбинское море и, с вожделением выпитывая воздух свободы, ловил рыбу «на мормышку» из проруби «по последнему льду». Это, собственно, и были первые шаги моего *возвращения*. Возвращения к истинной жизни. И естественно, что первые мои рассказы были об этом. Так же, как и мини-зарисовка «Девчонки» – память о самых юных годах.

Потом я сочинил рассказ «Сверкающая гора окуней», опять связанный с рыбалкой, и это стало моим достижением еще и потому, что в нем описывалось то, что было на самом деле не впрямую, а с некоторой долей фантазии. И – от третьего лица. Хотя на самом деле, конечно, все равно от первого. А главным героем был не я, а мальчик двенадцати лет. Хотя на самом деле, конечно, все равно я (таким ведь и был по сути тогда...). И речь там шла лишь косвенно о рыбной

ловле, на самом же деле – о столкновении мальчишки с ложью и предательством взрослого мира, как я это понимал. И в фантазии моей была не ложь, а правда.

«...Солнце, проделав мартовский путь, тонуло во мгле. Темнело. Все потянулись назад в сумерках. Шли и Володя с Петром Сергеевичем. Шли не спеша, переговариваясь, обсуждая планы на завтрашний день. Должны ведь они нащупать стаю, смог ведь тот наловить. Вот повезло человеку!

Конечно, конечно, им обязательно повезет, обязательно. Не сегодня – так завтра. Есть ведь еще день. Просто стая отошла на другое место – они найдут ее.

– Мы ведь наловим, да? Наловим? – повторял Володя, забегая вперед и снизу заглядывая в лицо Петра Сергеевича. – Ведь правда? Ведь правда?...

И он опять жил завтрашним днем, словно не было сегодняшнего, не было неудачи.

Но едва Володя с Петром Сергеевичем обмели березовым веничком снег с валенок у порога, едва зашли в накуренную тусклость прихожей Дома рыбака, едва стянули с плеч тяжелую, пахнущую морозом одежду, как тотчас услышали разговор:

– Что? Наловил? Ха! Он купил ее. Купил! Там сети поднимали, вот он и купил. А утром сегодня в город поехал, продавать. Так что зря старались, хлопчики, зря спешили. Вот ловкач, ха-ха!

– Что? Что вы сказали?

– Что он сказал? Ведь это неправда? Неправда?!

– Ха-ха, не только ты, хлопчик, поверил! Мы-то вот дураки большие, нам-то уж надо бы...

И тогда что-то странное случилось с Володей.

Он кинулся вперед, оттолкнул кого-то и, распахнув дверь, ощутив мгновенно, как охватило его морозом, бросился в темень леса.

Не все сообразили сразу, кто-то выругался, Петр Сергеевич в этот момент отошел к печке и не видел. Вдруг кто-то понял:

– Что с мальчишкой?!

И заторопился к двери.

Володя бежал наугад – «он купил их! купил!» – чудом найдя дорогу, не видя ничего в наступившей уже темноте, слепой от обиды, от электрического света избы, от слез. «Все обманывают, все, все!...»

Сзади хлопнула дверь, луч света скользнул по сугробам, погас.

– Володя! Володя!

Володя сбился с дороги, барахтался в глубоком, выше колена, снегу, проваливаясь, с трудом выдергивая ноги, падая, хватаясь за снег руками, отводя от лица холодные, скользкие и колкие, пахнувшие морозной хвоей ветви, сбиваясь с дыхания, – «все обманывают, все! зачем?» – споткнулся, упал окончательно, зарылся лицом в сыпучий, свежий, чистый и

мягкий снег. «Не надо, не надо мне ничего, раз так. Не надо...»

– Володя! Володя!

Забегал, заметался луч карманного фонаря по снегу, по елям. Теперь слышалось уже несколько голосов, досадливо и часто хлопала дверь.

– Куда он побежал? Что случилось?

– Обидели мальчишку – вы что, не поняли?!

– Володя! Володя!

– Следы смотрите... Ищите следы!

– Чеканутый мальчишка, ей-бо, чеканутый...

Его нашли, отряхнули от снега, привели в избу.

– Разволновался, просто разволновался, бывает, – оправдываясь, говорил Петр Сергеевич. И улыбался неловко.

Володя успокоился вскоре, утих. И взрослые тотчас же позабыли об этом случае. Нервный мальчик, балованный, подумали некоторые. Только Петр Сергеевич курил папиросу за папиросой и, сидя рядом с засыпающим Володей, утешал его. Он утешал его так:

– Ведь это случайность, сынок, мы еще наловим, не сомневайся. Мы еще завтра... А в апреле – мы ведь поедем еще раз, да? – в апреле мы наловим еще больше, чем он, – будут длинные дни. Мы приедем специально. Мы с тобой всех обловим – посмотришь, не унывай. Не унывай, сынок, всяко бывает, чего там...

– Он обманул, обманул. Вы все обманываете, все, все...

– машинально повторял Володя, засыпая, вздыхая прерывисто.

– Ну, я обещаю тебе, обещаю. Меня тоже обманывали, понимаешь? Думаешь, меня не обманывали? Что ты, сынок, что ты. То ли еще будет. Ты держись, сынок, надо держаться. Люди – они все же хорошие, не всегда ведь так-то».

(Из рассказа «Сверкающая гора окуней», 1960 г.

Опубликован в журнале «Юность», 1982 г.)

Ну, и конечно еще в одном из моих рассказов, не считая «Девчонок», отчасти была затронута и «девичья» тема. Хотя назывался он: «Листья».

«...Мы идем по тропинке, которая вьется по склону среди бугров и берез. Рита ведет себя опять непонятно, а когда я показываю ей кривую березу, один из стволов которой, седой и толстый, повис горизонтально над склоном, – она смеется странно и говорит, что у нее в туфель попал камешек. Она решительно спускается к ручью, пока я чинно сижу у кривой березы. Наконец, я слышу, как она зовет меня от ручья, но почему-то не двигаюсь – почему она от меня убежала? – и вот уже ее не слышно, а когда, продравшись сквозь заросли, я подхожу-таки к ручью, ее там уже нет. Теперь я кричу, но она не отзывается...

У меня немного болит горло – недавно болел, – и чуть-чуть кружится голова, потому что давно не был за горо-

дом; день жаркий, солнце россыпью ложится на листья кустов – это напоминает мне что-то, сказку из сна, и вот я уже отрешенно бегу по берегу ручья, продираюсь сквозь кусты напролом, пригибаюсь, где нужно, прыгаю через склоненные ветви – и листья шумно и хлестко бьют меня по лицу, мне уже тяжело, больно дышать, и передо мной то вспыхивает солнце на ветках, то веет угрюмой сыростью из-под густоты кустов, и в ярко-зеленые пятнистые полосы сливается множество хлещущих, пахнущих и щекочущих, жестких и мягких, зовущих, пьянящих листьев.

Я бегу долго – и тайна ручья раскрывается мне. Я вижу, как кончаются густые заросли по его берегам – он течет уже по равнине, на том, другом, берегу его – большие засеянные поля, на этом, моем, берегу – длинное здание фермы, домик, где живет, вероятно, сторож, и стадо коров. Я нашел себе какую-то палку и теперь иду, словно странник в незнакомой стране, опираясь на посох, смотрю по сторонам, вижу небо и солнце и ждущего чего-то. И хотя я все еще вздыхаю от бега и от непонятной обиды, в груди печет – я счастлив. Смело прохожу сквозь коровье стадо и с сознанием собственной значимости, бывалости, постукиваю палкой по дороге.

...Вновь ныряю в зеленые заросли, в листья, бегу назад по ручью, вприпрыжку и пригибаясь, где нужно. И опять все забыто, и я, кажется, пою что-то – песни, которые приходят сами собой. Летят мимо листья зеленой пятнистой

полосой, они хлещут и гладят меня по лицу...

Но в глаза мне сверкает красным. Рита. Она сидит в своей красной юбке на пенюшке у края оврага и спокойно, с улыбкой смотрит на меня.

Я останавливаюсь нехотя, взбираюсь по крутому склону, цепляясь за корни, и сажусь недалеко от нее, на траву. «А я думала, уж не медведь ли. Такой треск стоял...» – говорит Рита. «Как видишь, не медведь», – отвечаю хмуро. Мы сидим некоторое время молча. Потом поднимаемся и вместе идем на дачу...

...От вокзала провожаю ее домой. Мы едем в метро, потом пересекаем людную площадь, идем по темному переулку – под ногами распластались красивые черные тени, а по краям переулкa яркие фонари просвечивают сквозь нежно-зеленые неподвижные кружева...

Мы долго и молча стоим у ее подъезда. Я говорю «до свиданья», поворачиваюсь, иду. «Не уходи», – говорит она тихо. Я останавливаюсь, послушно возвращаюсь, легко обнимаю ее, целую вздрагивающие губы и ухожу тотчас. Ведь именно уходя, я чувствую себя суровым и сильным...

Ночью во сне я тоже вижу ярко-зеленые пятнистые полосы листьев. Они летят мимо меня и трогают и гладят мое лицо, нежно и ласково, бережно...»

(Из рассказа «Листья», 1960 г.

(сборник «Листья», 1974 г., изд. «Советская Россия»)

В журналы и издательства рукописи нужно было представлять не написанными от руки, а напечатанными на пишущей машинке. И тут судьба улыбнулась: мой друг Славка с первого этажа нашел среди россыпей семейного барахла старую пишущую машинку «Континенталь», правда с латинским шрифтом и слегка поломанную. Не помню уж каким образом удалось заработать деньги – кажется, на разгрузке вагонов, – но машинку мне починили и шрифт русский поставили.

Конечно, я сразу попытался давать свои первые рассказы в какие-нибудь журналы, но очень-то веря, что напечатают, но все же надеясь: а вдруг? Мне их неизменно возвращали с рецензиями, правда, благожелательными в отношении «описания красот природы» и «языка», однако же абсолютно однозначными с точки зрения неприемлемости для публикации. Ибо «зарисовки» мои, по словам рецензентов, были «легковесными» и «ни о чем». Конечно, вот это, последнее, больше всего меня возмущало. Как это «ни о чем»? Они, рецензенты, разве не любят природу и вообще жизнь? А чем они сами живут, чему в жизни радуются? Неужели искренне восторгаются «повышением производительности труда» на наших предприятиях и «мудрой прозорливостью» партийных вождей?

Приблизительно в это время я во второй раз прочитал «Мартин Иден» Джека Лондона.

Вновь испытал потрясение, несколько дней приходил в се-

бя, но все же опять сделал вывод: Мартин Иден не прав в том, что он покончил с собой! Он просто надорвался в борьбе с редакторами и издателями и в сущности изменил своим идеалам! Ему нужно было продолжать бороться за красоту, за человеческое прозрение! В этом отношении наши с ним взгляды на жизнь удивительно совпадали! Что же касается других людей, то ведь у большинства тяжелая жизнь, они просто не в состоянии преодолеть обстоятельства, потому и выглядят такими глупыми и дурными. Им надо помочь!

Он, Март Иден, в конце своей жизни стал в сущности нытиком и слабаком, считал я. И вообще он слишком много значения придавал не самой жизни, не ее красоте, а деньгам. В чем и ошибка! Его самого сгубили-таки «капиталистические ценности», которые он на словах презирал! И он недостаточно был уверен в своей правоте, вот в чем дело. Я постараюсь не делать его ошибок, не поддаваться...

Но в другом отношении – по поводу организованности, преданности своему делу, выносливости – я, конечно, им восхищался. Я не развешивал по комнате бумажек с иностранными и незнакомыми словами, чтобы их изучать постоянно, как он, (я ведь все же закончил школу, учился в институте, в отличие от него), но над своими рукописями работал без усталости. Из-за одного неверного (не соответствующего смыслу, настроению) слова я готов был перепечатывать не то, что целый абзац, но – страницу! Вот когда мне стало понятно и близко то, что говорили на уроках литера-

туры, например, о Льве Толстом – что он, мол, раз по десять переписывал места из своих произведений, а то и произведения целиком! То же говорили о Чехове и о других настоящих писателях.

Еще очень важно было, как я понимал, сохранить здоровье. Не просто так, не само по себе (что, конечно, тоже важно), но прежде всего потому, что работа предстоит очень трудная, напряженная и долгая. Уже по первым своим шагам я понял, что нужно жить долго и жить именно в здоровье, иначе ничего не добьешься. Особенно в нашей стране. Потому что у нас особенно упорно правительство приучает людей ко лжи, а люди почему-то очень легко соглашаются.

Конечно, временами я впадал почти в полное отчаянье. Ведь не поддерживал меня никто! То есть ни один человек! Ни из друзей, ни из родственников. И никто мне не верил. Что касается пишущей машинки от Славки, то он нашел и подарил ее мне чисто по-дружески – потому что я об этом его попросил, а вовсе не потому, что он верил в мои писательские способности.

Что касается моей школьной любви, Аллы, то я ее потерял, как позднее понял – по глупости и неразвитости, то есть от нерешительности. Я не в состоянии был преодолеть свою робость, чтобы хоть попытаться эту девочку поцеловать. А на выпускном вечере, танцуя с ней и ощутив прикосновение к себе ее уже вполне женской груди, чуть в обморок не упал от нахлынувших чувств. Ей все это, естественно, надоело, и

она предпочла парня решительного, а не такого рохлю, как я.

Частенько я чувствовал себя так, словно я один во всем мире. Мне казалось, что только растения, птицы, рыбы по-настоящему понимают меня. Они не врут. На добро они всегда отвечали добром. А люди врали. Почти все. И они не любили ни меня, ни друг друга...

«...Нельзя не навещать родных – грех, потому что все равно приходит время, когда становятся они тебе нужны, но тогда бывает, ты им уже чужой, и неожиданно оказываешься еще более одиноким. В юности – после Ногинска, когда мать уже умерла, а отец погиб, – я часто ездил на охоту или на рыбную ловлю или просто побродить по лесу. И на какой-нибудь затерянной лесной поляне мне вдруг казалось, что именно в этих деревьях, в этом вот самом воздухе, в этих теплых лучах жив дух моих родителей, заботящийся обо мне, оберегающий. Это были справедливые отец и мать, они зря не ругали меня и прощали и требовали лишь одного – уважения. И если у дерева росли ветви и листья, то я знал, что это то же, что мои руки и волосы, а птицы, зверьки и рыбы лишены были коварства и на добро отвечали добром...»

(Из повести «Путешествие», 1973 г.

(сборник «Листья», 1974 г., изд. «Советская Россия»)

Некоторых вещей я особенно не мог понять. Ну, вот, на-

пример: ведь в школе я был круглый отличник, на меня возлагали большие надежды, прочили в «советские Ломоносовы». Так и говорили учителя некоторые! И гордились мною, когда я был студентом МГУ. А когда ушел из Университета, то все дружно от меня отвернулись, даже и не задумываясь. Мол, «сбился с пути»! Как это? Почему?!

Я старался объяснить родственникам и знакомым, но мне никто не верил, даже сестра, самая близкая из моих родственников. Я понимаю, они думали: «Не выдержал трудностей учебы, университет это ему не школа!» Но ведь это вовсе не так! И я ведь не пьянствовал, не воровал, не делал глупостей! И вовсе не ленился! Я был такой же, как раньше, и даже лучше! Я читал книги самостоятельно, а не потому, что кто-то велел, я упорно по собственной воле проводил часы за тетрадами или пишущей машинкой. Делал гимнастику по утрам, ездил за город... Я честно занимался любимым делом и никому не подчинялся, думал своей головой, а не чужой, ко всему относился по совести! Почему же никто не верил мне? Почему даже не трудились выслушать, попытаться понять? Как же это так: был примерный мальчик, кончил школу с Золотой медалью, поступил в престижнейший вуз! Значит, способный? И вдруг... Сбился с пути?

И все больше я убеждался: точно так же было у Марта Идена сначала – ему ведь тоже сначала никто не верил, со всех сторон твердили, чтобы он «устроился на работу»...

«...Я лежал на животе прямо в чаще зеленых трав – травинки кололись, муравьи забирались под майку, отчаянно щекотали, кусали, в носу свербило от острого аромата цветов, трав, земли, а пылкое мое воображение следовало за каким-нибудь муравьем по узкой тропке среди толстенных травяных стволов, похожих на тропический бамбук, мимо раскидистых кустов земляники с трехлопастными гигантскими листьями... Над головой висели, источая приторный аромат, кроваво-красные тяжелые ягоды. Я карабкался по толстым изогнутым лианам стеблей, пытаясь добраться до соблазнительных этих плодов, повисал на прохладных розоватых лопастях чашелистиков и наконец погрузился в восхитительную, пахучую, нежно-розовую в глубине мякоть ягод, пачкаясь в алом липком соке... Потом, омывшись каплей росы, вскакивал на спину жука-жужелицы и, держась за острые края его ребристого, мутно-блестящего панциря, мчался по неизведанным дорогам дремучих джунглей быстрее самого быстрого автомобиля... Наконец сходу хватался за какой-нибудь толстый ствол, взбирался по нему высоко-высоко, как Тарзан... Пытался поймать за брюшко яркую, пеструю бабочку – жар-птицу... Потом мысленно попадал в полумрак муравейника – этого многоэтажного лабиринта с анфиладами комнат, галереями, залами и погребамии. И строгие охранники-муравьи придиричиво ощупывали усиками меня, чужестранца, но почему-то не трогали... Я жил в дебрях какого-нибудь куста

или в цветке, как крылатый эльф, летал на спине прирученной стрекозы над бескрайним океаном трав, как Карик и Валя...»

(Из книги «Джунгли во дворе», 1973 г.

Издательство «Мысль», 1981 г.)

Кажется, именно тогда уходя из Университета, я особенно всерьез задумался *ради чего* приходим мы в этот мир. В чем смысл жизни? Неужели только в карьере и детях? Тогда-то и пришла мне в голову мысль о том, как хирург, спасавший людей всю свою жизнь, начал интересоваться тем, как распорядились спасенные вновь подаренной им жизнью. Долгое время эта мысль во мне вызревала, и только в 1967-м году я начал первый вариант своего будущего романа, но не закончил. Продолжил лишь в начале «нулевых»...

«...Да, началось тогда, пожалуй, все – с Кирпичева. Что-то в 70-х годах. Мне тогда около пятидесяти, я – хирург. Четкая петля времени – я снова там...

Молодой крепкий парень, получивший ножевое ранение в сердечную мышцу. Мы – а главным образом, разумеется, я – взялись за дело. У него было три минуты клинических... Надежды почти не было, и все-таки – удалось! Операция длилась не один час. Но – удалось! Парня вытащили фактически с того света! Это была сенсация – о ней узнали! Французский, бельгийский, швейцарский журналы напечатали по-

дробные отчеты об операции, на симпозиуме в Киеве демонстрировали снятый во время операции фильм – успел тогда приехать телеоператор в Клинику. Меня приглашали во Францию... Из Хабаровска прислал телеграмму известный специалист, да и не только он. Мне звонили, поздравляли, писали письма. И парень уверенно шел на поправку, да...

Лицо его мне нравилось и вообще, выздоравливая, вел он себя вполне хорошо. А я давно интересовался, что «там, за синей чертой» – спрашивал у тех, кто «вернулся» после клинической, читал литературу на эту тему. Спрашивал и у него. Он говорил, что «сплошная темнота, ничего больше». Но тут дело было не в этом. А в том, что парня в конце концов выписали из клиники, в довольно скором времени он начал работу – был, кажется, слесарем на каком-то заводе. Я в курсе, потому что родственники меня очень благодарили и звонили потом.

Но... Это был, конечно, не первый случай в моей хирургической практике – вытаскивать с Того Света приходилось не раз, особенно во время войны еще, – но история с Кирпичевым особенно мне запомнилась потому, что... Потому что месяца через три после того, как Кирпичев окончательно выздоровел и вернулся к работе, в пьяном угаре он полез купаться в речку с сильным течением и утонул. А полез, потому что якобы с кем-то поспорил – что, мол, выздоровел он окончательно и переплывет туда и обратно запросто... Крутой он, видите ли. Все ему нипочем!

Конечно, каждый человек волен распоряжаться своей жизнью так, как он хочет. Конечно, бывают и случайности в жизни, когда не ты распоряжаешься своим существованием на земле, а то, что мы называем Судьбой. Но в случае с Кирпичевым меня больше всего поразило то, что ведь и в первый раз, как мне было известно, виноват был Кирпичев сам – тяжелое ножевое ранение он получил в «разборке» от человека, который фактически защищался! Уголовное дело тогда почему-то закрыли. Но ведь и утонул Кирпичев фактически тоже по своей воле – ему нельзя было пить и – тем более! – в пьяном виде лезть в реку из-за какого-то дурацкого спора! Он полез в реку, чтобы доказать приятелям, какой он – несмотря ни на что! – крутой и здоровый.

А, между прочим, он собирался жениться на хорошей девушке – я ее видел, она мне нравилась. И она была уже беременна от него...

Вот такая история. Конечно, и во время войны, и потом тоже бывало всякое. В войну бывало, что спасенные возвращались аж на передовую и – гибли. Но то – герои, понятно... Тут же – мирное время, и парень пострадал в обоих случаях совершенно по-глупому, по своей собственной воле! Хотя...

Уже тогда стали возникать у меня мысли о том, что ведь что-то же двигало им, наверное. Но что?

Тогда-то впервые всерьез я и задумался над тем, зачем вообще мы рождаемся на этом свете. ДЛЯ ЧЕГО? И какой смысл в работе врачей, если те, кому мы – а тут фактиче-

ски я – заново подарили жизнь, используют ее так глупо. И еще. То, что он по-дурацки погиб, ладно бы – хозяин барин, как говорится. Но своим идиотским поступком он принес истинное горе и родителям, и беременной невесте! В сущности он принес горе и мне, обесмыслив мою победу над его первой смертью! Странно это.

Но... Может быть, есть что-то, руководящее нами «сверху»? Что? Или кто. Бог? Судьба? Или что-то еще?»...

(Из романа «Пациенты», 2017 г.)

Литинститут

Побывав после ухода из университета и рыбаком (ловил на удочку и продавал на рынке), и грузчиком (работал на складе мебельной фабрики, а также на разгрузке вагонов), и рабочим сцены в оперном театре (перевозили со склада в театр и обратно театральные декорации), и фотографом (игнорируя советское законодательство, запрещающее «частно-предпринимательскую деятельность», фотографировал детей в детских садах), и станочником, подсобным рабочим, слесарем-сборщиком на автомобильном заводе, и лаборантом-химиком на «закрытом» «оборонном» предприятии под вывеской «Почтовый ящик такой-то», я решил все же заочно закончить какой-нибудь институт, чтобы иметь диплом о высшем образовании (он назывался тогда у нас – «поплавок»).

Естественным было бы поступить в Литературный институт имени Горького при Союзе Писателей СССР, но я, во-первых, неуверен был, что пройду Творческий конкурс (40 человек на одно место!) – ведь у меня пока НИЧЕГО не было опубликовано! А во-вторых боялся, что даже если пройду, то и там меня будут учить любить не то, что люблю я, и не свою профессию, а «свою социалистическую Родину, идущую к светлomu Завтра под руководством Коммунистической Партии Советского Союза!» И писать я должен – ОБ ЭТОМ!

И все-таки послал я несколько своих первых рассказов (в том числе «Зимнюю сказку», «Запах берез» и «Сверкающую гору окуней»...) на объявленный весной Творческий конкурс. Все они побывали в редакциях разных журналов и были дружно отвергнуты. Но я все же тщательно перепечатал их на машинке и послал. Всего что-то около 35 страниц получилось, как и было предложено в Правилах конкурса. Послал и забыл.

А в июле вдруг получил уведомление, что Творческий конкурс мои рассказы прошли! Вот уж не ожидал...

Но сдавать экзамены в институт я все же не стал. Не чувствовал еще себя достаточно уверенно для того, чтобы выдержать несомненный будущий напор советских преподавателей. Правда, какой-то комплекс знаний получить хотелось. То есть даже не столько самих знаний – их я мог бы получить и из вполне доступных учебников, книг, – а именно комплекс. Чтобы иметь представление о том, чему сейчас учат студентов в нашей стране. Но по-прежнему больше всего на свете я боялся, что меня изуродуют, то есть *кастрируют*. Потому и не стал сдавать вступительные экзамены в этом году.

На следующий год я все-таки снова послал рассказы на творческий конкурс и – снова получил уведомление о том, что прошел! И теперь решил поступать. Была ни была! Сдав на отлично все экзамены, за исключением одного (который на «хорошо»), и пройдя обязательное «собеседование», по-

ступил.

Но вскоре началась цепь так трудно объяснимых недоумений, которая тянется много лет — *до сих пор!* — и которая в конечном счете послужила причиной написания этой книги...

Колдовство?

Учеба на заочном отделении Литературного института им. А.М.Горького заключалась в том, что студенты (которые в обязательном порядке числились где-нибудь на штатной работе) получали учебные программы с указанием необходимой литературы и раз в год собирались на экзаменационную сессию. Количество студентов было невелико, но они приезжали со всех концов Союза. Сессия длилась около месяца, зарплата сохранялась. Во время сессии каждый день нам читали лекции по каждому из предметов, а потом мы сдавали либо зачеты, либо экзамены. Заочники-москвичи, к тому же, собирались на «творческие семинары» каждую неделю по вторникам, и на семинаре кто-то из студентов читал свои сочинения, а все остальные высказывали свои суждения, мнения. Ведущий «творческий семинар» преподаватель подводил итог «обсуждению», а студент, чьи произведения обсуждались, делал соответствующий вывод и таким образом должен был повышать свое писательское мастерство.

Задумано было совсем неплохо. Короткие, лаконичные чтения лекций на сессиях предоставляли именно тот комплекс знаний, который, конечно, необходим каждому культурному человеку, и, тем более, будущему «властителю дум». «Творческие семинары» могли дать то необходимое общение и «обратную связь», которую мы, «начинающие пи-

сатели», очень жаждали, так как пробиться на страницы журналов и в издательства сквозь сомкнутые ряды маститых литературных начальников было очень и очень непросто. Задумано было хорошо. Но...

На первый творческий семинар я шел как на праздник. Наконец-то! Ведь несколько лет уже сидел один в своей келье! А тут – единомышленники! Такие же, как я! Конкурс в институте, как мне сказали, был 40 человек на одно место. Сорок! Преодолели его, очевидно, сплошные гении! Я-то, конечно, случайно проскочил со своими рассказиками о рыбной ловле, о природе и о девушках... Честно говоря, я искренне не понимал, как это мне удалось дважды преодолеть творческий конкурс – при том, что ведь ни строчки не опубликовано! Загадкой было и то, что на собеседовании заведующий кафедрой творчества как-то особенно, доброжелательно улыбаясь, смотрел на меня... Но, может быть, он на всех так смотрел?

Читать свой рассказ начал симпатичный мужественный молодой человек с бородой. Он слегка шепелявил, к тому же явно злоупотреблял псевдонародными словечками. И вообще трудно было врубиться в смысл. Просто описание убогого деревенского быта старика и старухи, причем с загибом в мистику. Да еще и с какой-то натужной значительностью.

Деревенская тема» была тогда очень в моде, но ощущалось, что в рассказе все выдуманно и не относится к самому автору. Правда, не видно было и явной «соцреалистической»

заданности, а был этакий «поток жизни», что отчасти порадовало. Но суть рассказа что-то никак не прослеживалась. Не ощущалось ни напряжения, ни подтекста – вообще непонятно было, что хотел сказать автор. Этакая словесная вязь, причем какая-то вычурная...

Рассказ внезапно закончился. У меня лично прочитанное вызвало недоумение. Судя по лицам других семинаристов – их было что-то около десяти, все мужчины, – они тоже не поняли сути, хотя некоторые явно делали понимающий, многозначительный вид.

Молодой человек тоже многозначительно обвел всех нас взглядом и начал читать второй рассказ. По сути этот, второй, ничем не отличался от первого, к счастью, правда, он не был длинным. Молодой человек без перерыва начал читать третий. Такой же. Ощущение скуки возникло просто невыносимое. Причем, по-моему, у всех.

– Ну, кто хочет выступить? – вздохнув, спросила руководительница семинара, вдова очень известного советского писателя, не так давно умершего.

Все молчали, и тогда она начала вызывать каждого по очереди – как в школе. Постепенно стало ясно, что никто, как и я, ничего не понял, хотя каждый старался обязательно что-то сказать – либо о языке, либо о какой-нибудь незначущей детали или о непонятном слове. То есть это до смешного напоминало школу, хотя некоторым из семинаристов было не меньше сорока. Мне повезло, что меня спросили не первым,

но когда все же очередь подошла, я коротко промямлил, что мало что понял, мне показалось, что рассказы скучны, и не понятно, о чем хотел сказать автор.

– Может быть, автор как-то объяснит? – спросил я.

Автор, естественно, ничего объяснять не стал, со значительным и суровым видом он заявил, что он «все сказал», а «если кто чего не понял, то это его проблемы». Его заявление, по-моему, не понравилось никому, тем не менее обострять дискуссию не стали.

– Кто может почитать в следующий вторник? – вздохнув, спросила преподавательница.

– Я могу, – сказал я.

Мои рассказы представлялись мне прямой альтернативой тому, что я слышал только что. В них не было никакой натужности, никакого выпендривания, скорее – наоборот. В них была простота и правда. И радость жизни. Это не может не быть близким каждому, думал я.

«...Весь вечер он ходил и ходил около ее дома. Узкий пустынный заснеженный переулок с ветвями деревьев, свесившимися над тротуаром, с маленькими деревянными домами по соседству с высокими каменными. Желтые фонари сквозь ветви деревьев. Ее домик – старенький, двухэтажный, с окнами на улицу. Два ее окна, темных...

Так и не встретил. Неужели и правда уехала? И так и не позвонила, хотя обещала ведь.

...Когда надо было идти на работу, в понедельник, он встал полусонный, через силу. Слегка болела голова, но лишь только проснулся – вспомнил. И все тотчас озарилось! На стуле висели вчерашний костюм и рубашка – они еще таили слабый, чуть уловимый аромат ее духов, – ему захотелось взять их с собой, сохранить. Весь день на заводе он – вспоминал тот удивительный, просто волшебный танец...

И вот, наконец, третья, последняя вечеринка. В субботу. В его комнате. Собрались стихийно, почти без повода, «в честь субботы». Знакомые ребята, знакомые и незнакомые девушки. Пришла и она с Вадимом. Сначала было скучно, вяло и не к чему. Потом все внезапно переменялось. Он подошел к ней и пригласил на танец. Она с готовностью встала.

...Ничего не осталось в мире, кроме них двоих, ничего. Только Он и Она. Это не танец был, это был их полет. Две птицы – в теплом солнечном небе. Каждое его движение она чувствовала и понимала. А он – ее. Время остановилось. Нет, оно кружилось на месте, плавно и мягко вокруг них. Вот же наверно счастье, подумал он. Вадим, ее парень, с тревогой посматривал на них, но сейчас они были только вдвоем...

Он рассказывал бы ей обо всем, рассказывал бы всегда, глядя в ее глаза, держа ее руки в своих – только она и он, и никого больше. Ведь было похожее, было! Когда-то давно: девушка в красном платье со светящимися медовыми волосами, с женскими теплыми детскими руками... Они играли

«в ручеек» на школьном вечере – очень давно... – и он взял тогда ее за руку и чуть не порвал тесный тугой рукав платья, а она звонко рассмеялась его неловкости. А у него голова закружилась внезапно – он не мог отвести глаз от сияющего ее лица, от глаз небесного цвета, от медовых длинных волос, растрепавшихся и сверкающих золотым водопадом... Да, что-то у них завязалось тогда. Но... Он долго, слишком долго решался, и... Появился другой – уверенный в себе, решительный, смелый – с ним и ушла она, улетела, как райская птица... А он остался один – с яркой, незаживающей картинкой в памяти, мучительной, острой. Но вот...

ТЕПЕРЬ у нее, у Лены, были такие же медовые волосы и детская рука с нежным запястьем, и такая же точно улыбка – пугающая своей РЕАЛЬНОСТЬЮ ПРОШЛОГО, возродившегося вот через десять лет – словно жила, невидная, где-то рядом, не гасла и не тускнела – сияла тайно! – и вот, наконец, открылась ему, неожиданно, откровенно и резко. Лена, ее зовут Лена, оказывается. Не Алла... Лена!

Но теперь он – опытный, сильный, обученный жизнью боец...

И она тотчас почувствовала и – подчинилась, и уже ничего тоже не ощущала, кажется, кроме его властной близости. И для нее – он видел! видел! – это тоже было так, словно лишь по какой-то случайности они до сих пор не знали друг друга, хотя и виделись иногда, но теперь-то вот ПОНЯЛИ, наконец, и это было самое главное для обоих, а боль-

ше и не осталось вокруг ничего...

Поздно вечером он вернулся домой с завода, сел за письменный стол. За свой старый, расшатанный, письменный стол, который один, кажется, ЗНАЛ. Чувствовал, верил, помнил, понимал. Достал тетрадь, авторучку...

И это трепетное, яркое, жутко волнующее он превратил в рассказ. В своем рассказе он был красивым, смелым и – сильным. Жизнь его была светлой и радостной. Свободной! Такой, какой он представлял ее себе тогда, в 10-м классе школы – только лишь представлял. Но теперь... Теперь, кажется, ему было доступно все».

(Из рассказа «Ему было доступно все», 1961)

Того, что произошло в этот вторник, когда я принес рассказы на семинар в Литинститут, я не забуду, наверное, никогда. Прочитал я, кажется, три – «Зимняя сказка», «Запах берез» и «Листья».

Когда закончил читать и замолчал, скромно ожидая пусть не похвал (хотя очень хотелось!), но *понимания* (которого не было ведь ни у родственников и ни в одной из официальных «внутренних» рецензий!), и преподавательница, как и в прошлый раз, тихо спросила – «Кто хочет выступить?» – я увидел *то же самое*, что и тогда, в прошлый вторник! Все молчали! И молчали *плохо*, это я ощутил сразу!

Когда же по вызову преподавательницы начали высказываться, то они все, как один, говорили, *вовсе не о том, о чем*

я написал! Ощущение у меня было, как во сне! Я читал им одно, а говорили они *совсем, совсем о другом!* Может быть мне так показалось, но говорили они о моих рассказах даже хуже, чем о тех, что в прошлый вторник. Они не увидели в них *вообще ничего!* В прошлых рассказах был, по их мнению, «хотя бы деревенский быт», а тут что? Они говорили ТОЧНО ТАК ЖЕ, как рецензенты в журналах – они посчитали, что рассказы мои «*ни о чем!*»!

Что происходит? Мне хотелось себя ущипнуть. Как это *ни о чем?* Они – о ГЛАВНОМ! О красоте природы, о прелести жизни, о ее РАДОСТИ! Однако ответить им связно я ничего не мог – ощущал просто отчаяние!

– Но это же... Это жизнь! Это радость жизни, это же правда! Неужели вы... – мямлил я в отчаянном недоумении. – Разве не этому, не такому мы в жизни радуемся?...

«Семинаристы» не хотели мне зла, я это видел, но, похоже, они искренне не понимали, зачем я писал о такой ерунде. Как мог я считать серьезными такие «детские» переживания? *Инфантилизм...*

Я же, уходя с семинара, всерьез думал: а не уйти ли из института совсем? Может быть, это еще хуже, чем в Университете?

Понять «семинаристов», конечно, можно. Начались 60-е годы. Минуло сталинское время, и теперь, после знаменитого доклада Хрущева, все мы знали: миллионы людей страны были расстреляны без суда и следствия, погибли в концла-

герях от голода, болезней, побоев. Гигантская – самая большая в мире! – страна постепенно приходила в себя после ледяного сна, в котором оказалась в результате опьянения идеалами Великой Октябрьской и бесконечных ленинско-сталинских «чисток».

Вовсю шли испытания термоядерного оружия, которого уже накоплено столько, что можно в течение нескольких часов уничтожить всю жизнь на планете. Решался вопрос – «Кто кого?»... То есть, какая общественная система победит – наша, советская, которая, несмотря на страшные ленинско-сталинские репрессии все же провозглашает идеалы всемирного братства, счастья, равенства, или капиталистическая, где, как утверждают наши идеологи, «человек человеку – волк»?

Все в мире, понимаете ли, напряжено, вот-вот может разразиться война, а я... В единственном в мире Литературном институте, пестующем будущих «инженеров человеческих душ», «властителей дум» – и не где-нибудь, а в Советском Союзе! – я пишу о чем же? О рыбной ловле! О своих в высшей степени легкомысленных отношениях с девушками! Конечно, с точки зрения «кто кого?», с точки зрения «серьезного международного положения», с точки зрения «политики КПСС», мои рассказы действительно – НИ О ЧЕМ! Понять «семинаристов» и нашу преподавательницу можно...

Но я-то рассчитывал, что поймут и меня! И СЕБЯ по-настоящему тоже! Отчего происходят безобразия в мире? От

того, что люди погрязли во лжи, и никто никого и ничто *не любит!* И на Западе, и у нас сплошное вранье, ненависть, пустая гордыня, безобразное отношение к природе и людям.

Бесполезно «соревнование двух систем», если люди забыли об *истинных ценностях!* Истинные ценности – *жизнь, природа, любовь, красота*, а вовсе не деньги, не ракеты и бомбы, не «верность Коммунистической партии», не «кто кого»! Без возвращения к истинным ценностям ничто не имеет смысла! Правду надо писать, прежде всего правду! Тогда и можно будет понять, что, зачем и почему!

Потому я и считал, что мои рассказы О САМОМ ГЛАВНОМ. Может быть, я недостаточно ясно выразил в них свои мысли? Может быть! Но зато я не врал! Я писал о том, что **ДЕЙСТВИТЕЛЬНО** чувствовал и думал! Разве это не заслуживало поддержки? Я не врал! В отличие от подавляющего большинства других «советских писателей» и, в частности, от того, кто читал свои рассказы на прошлом «обсуждении», я – НЕ ВРАЛ! Я писал о том, что знал, любил, чувствовал на самом деле, о самом сокровенном! И я ждал, что именно это они и оценят.

Увы. Не оценили.

Но тогда вот какой вопрос вспыхнул: за что же меня приняли в институт?! Ведь *эти же самые рассказы* прошли здесь творческий конкурс! Причем два года подряд! Да еще при таком большом наплыве – 40 человек на одно место! Странно... Если рассказы «ни о чем», если необходимо обя-

зательно врать, то...

И в обычный день – не во вторник – я пришел на кафедру творчества. И попросил у девушки-секретаря показать мне отзыв рецензента с творческого конкурса. Как мог, объяснил ей свое недоумение происшедшим на семинаре, она прониклась сочувствием и, хотя это категорически запрещалось, отыскала и показала мне то, что я просил.

Рецензии было две. Обе резко положительные! Одну написал не кто-нибудь, а заведующий кафедрой творчества! Две фразы из нее запомнились мне на всю жизнь: «То, что этот человек заслуживает учебы в Литературном институте, видно из каждого абзаца присланных им рассказов. Я – за!!». Девушка-секретарь добавила, что сама слышала, как завкафедрой творчества восторженно отзывался обо мне, почему и пришел на собеседование специально, чтобы посмотреть на меня.

Я вновь испытал подобие шока. Теперь, конечно, другого. Но почему же на семинаре так странно?...

И я решил так: на семинар пока не ходить, а послать на кафедру творчества недавно написанную повесть. Хотя она тоже о рыбной ловле – весной, по последнему льду (называлась «На Рыбинском море»)... Я гордился тем, как удалось мне в словах передать ощущение ослепительного простора, солнца, ветра, кипящей радости жизни. Поставит зачет преподавательница – буду ходить в следующем семестре на семинары. Не поставит – не буду. Даже готов уйти из институ-

та совсем.

Поставила.

«...Наконец, наша платформа, бревенчатый сарай станции, кудлатые сосенки. За ними – дорога. Нас двое – я и Борис.

Отупляющий свет, талый снег под ногами – весь в бурых комьях от лошадиных стараний, – наши санки, нагруженные так, что и лошадь не сочла бы ниже своего достоинства везти их, двадцатикилометровый бесконечный путь под чистейшим небом, среди ослепительной белизны полей, потом через лес. Непослушные ноги в конце пути.

Закат, багряный, звонкий, как звук трубы. Алые кисейные полотнища по голубому фону. Мелодичный перезвон дорожных льдинок под ногами – мы крушим подошвами обширные ледяные государства. Красота! А вокруг – тишина. Обалденная, роскошная тишина.

Наконец, вот оно – море! За строем избышек на берегу, за рядом прибрежных сосен. Не синее, ласковое и не седое от злости – белое, нереально ровное, как гигантское зеркало, покрытое снегом. Рыбинское море, водохранилище подо льдом. Борис ищет избу, которая ему знакома...

...Идем по деревне, потом сбегает по откосу на море. Санки катятся за Борисом, подпрыгивают. Хрустящий голубой наст. Абсолютно ровное море. Заспанное солнце поднимает

ется очень медленно, но его лучи уже слегка поглаживают лицо...

Приблизительно через час мы приблизились к острову.

Белое безмолвие. Солнечное безмолвие. Пронзительно сильнее над головой и светлеющее к горизонту небо. Слепящий снег под ногами. Короткие тени. Первый день.

Подо льдом словно всё вымерло. Не клюёт.

... Больше всех окуней – у того парня, что украл веревку у рыбаков. Он весело смотрит на нас и небрежно стряхивает на лед окуня. Окунь большой. Борис лихорадочно, брызгаясь осколками, начинает рубить лед. Вид у него отчаянный. Пока он рубит, парень вытаскивает еще четырех. Потом рублю я. Пешня-то у нас одна...

Я, кажется, волнуюсь, и потому первый окунь срывается. Но – снова подводный толчок, и, наконец, в лунке показывается растопыренная пасть и два удивленных желтых глаза. Едва не порвалась леса. Он величиной с ботинок. Отцепляю крючок от слюдяной губы, бросаю мормышку в лунку и снова тащу. Такой же. Потом третий, четвертый, пятый... Как во сне. Как в игрушечном большом аквариуме. Клёв затягивает меня, в голове – пусто, машинально я делаю то, что нужно, и почему-то задерживаю дыхание. Руки холодны и скользки, пальцы исколоты, замерзли ноги, но все это ерунда, потому что – клев!

Но вот он становится слабее, реже, и я оглядываюсь,

словно просыпаюсь. Борис ловит на другой лунке. Я рублю рядом с ним – и сначала всё повторяется. Шуриша, ворочаются на снегу мои окуни. Фантасмагория клева! Паутина клева – гипноз. Ледяная феерия! Пошел не дождь, а, слава богу, снег, потом перестал, и начало темнеть.

Ушли мы одни из последних. Долго собирали рыбу. 187 штук поймал Борис, 164 – я. Когда положили всё в мешок, получилось так много, словно это была не рыба, а картошка. Ввалили на санки, увязали веревками. Теперь нужно было санки везти. Наст проваливался. Метрах в ста от лунок спасительной полоской желтела дорога. Зимняя трасса по льду. Кое-как доволокли воз до дороги.

Впереди – восемь километров. Свежий мокрый снег предательски запорошил дорогу. Слава Богу, что хоть на дороге нет наста. Из-за свежего снега санки упираются, как молодой бычок. Говорят, что своя ноша не тянет. Интересно, кто это сказал? Нам теперь очень хотелось его увидеть. Мы просто сгорали от желания сказать ему всё, что мы о нем думаем. Сначала вёз я. «Вёз» – это, конечно, слишком громко. В вертикально-горизонтальном положении меня удерживала веревка от санок. Она была, как струна контрабаса.

– Знаешь, Борь, давай меняться, ну тебя к черту, – сказал я приблизительно через километр.

Мой друг жалеючи похлопал меня по плечу и повез. Я пошел сзади. Идти было даже более, чем легко. Меня теперь

так и клонило вперед, и ноги едва успевали сдерживать тело от чрезмерного вертикально-горизонтального наклона. Борис шел довольно быстро. Сначала. Я опять стал думать о пользе физкультуры и, в частности, бокса. Ведь Борис боксер. Он оборачивался, улыбался и подмигивал мне. Сначала. Потом перестал оборачиваться. Потом снизил темп. Потом мы сменились.

Я вдруг вспомнил, что в таких случаях мне иногда особенно помогают чьи-нибудь стихи – как допинг. Как маршевый ритм. Но сейчас даже на стихи не было сил. Абсолютно. Даже в мыслях.

Окружающего не существовало. Прошлого тоже. Впереди маячила грязно-желтая постылая дорога, и лицо щипало от пота. Я уже не говорю, о том, что веревка не оставляла приятного ощущения. Вскоре пришло избавление от Бориса. Но ненадолго. Так мы протащились километров шесть. Оставалось приблизительно два.

Впереди в полутора километрах – берег. Слева по берегу – наша деревня. Дорога отклоняется вправо, к рыбзаводу. Если идти напрямик, мы сократим путь. Борис сошел с дороги и попробовал наст. Держит. Мы пошли целиной. Вскоре наст начал проваливаться. Ненавистные санки зарывались полозьями в следы от ног и заваливались то на один бок, то на другой. Мы менялись через каждые двести шагов. Потом через сто. Ноги стали совсем непослушными. Они нахально отказывались двигаться. Хотелось переставлять их при

помощи рук. Я сказал это Борису. Он безнадежно молчал и даже не улыбнулся. Он только шумно дышал, словно лошадь, берущая подъем. Он, по своей теории, дышал носом. Я шел сзади по готовым следам и чувствовал себя, как утопающий, которому перед смертью удалось еще глотнуть воздуха пополам с водой. Но всё же в голове у меня шевельнулось ехидство.

– Знаешь, Борь, – прошепестел я, – к тебе сейчас подходит любое сравнение, но только не с вихрем.

Это доконало Бориса. Он упал. И стал хватать ртом мокрый снег. Мне стало жалко своего друга. Я хотел его поднять, но упал сам. Лежать было лучше, чем везти санки. Но через некоторое время вода пропитала одежду и добралась до измученного тела. Борис встал, нехорошо засмеялся и помог мне встать. Была моя очередь.

До берега оставалось метров триста. Наст опять то держал, то вдруг ломался и, теряя равновесие, приходилось иногда падать. Это было совсем ни к чему, потому что каждое падение, во-первых, отнимало силы, а во-вторых, парализовало волю. Предательство какое-то, ей-богу. Борис шел сзади и поправлял мешок, который теперь постоянно сползал на сторону. Борису было немногим лучше, чем мне. Потом он повез. И мне стало немногим лучше, чем Борису. Даже мысленно я перестал теперь ругать того, кто выдумал эти нелепые слова: «Своя ноша не тянет». Ненависть тоже отнимает силы. Тогда я подумал, что Борису

будет легче, если к его усилиям я присоединю свою волю.

– Но! – сказал я, и хотел, как извозчик, причмокнуть языком.

Но у меня не хватило на это сил. И я еще раз сказал, но теперь более протяжно:

– Ннно...

К несчастью, мои слова произвели обратное действие. Борис снова упал. И уже не хотел вставать.

– Но, – коротко и вяло повторил я на всякий случай.

Борис не двигался. Он даже закрыл глаза. Я испугался и сказал:

– Давай, я повезу.

Борис отполз от санок и предоставил мне возможность продемонстрировать свою силу. Вернее, бессилие. Потом он поднялся и пошел за мной. Если можно так громко выразиться – «пошел». Когда я упал, солировать опять стал Борис.

Так мы дотащились до берега. Но теперь предстоял штурм откоса. Поняв это, мы не упали в обморок лишь потому, что у нас не хватало сил удивляться чему-нибудь. Мы немножко отдохнули. Потом я опрометчиво предложил Борису свои услуги, то есть, сказал, что сам втащу санки на берег. Я хотел пострадать за вчерашнее – за то, что так глупо гулял с дамой и даже не попытался поцеловать ее на прощанье. А еще, вероятно, во мне заговорила кровь моих мужественных предков славян. Жалко, что в эту минуту

меня не видит отец, подумал я гордо. Но у меня ничего не вышло. Не я тащил санки вверх, а санки тянули меня вниз. Мое благородство оказалось мне не по средствам. Хорошо, что в эту минуту меня не видел отец. Хорошо, кстати, что он и вчера меня не видел.

Тогда мы решили развязать воз. Борис оказался не менее благородным, чем я. К тому же он ведь занимался боксом. За всё надо расплачиваться. Я помог ему взвалить мешок на спину. Мне досталось везти санки. На них был чемодан с удочками и гора нашей одежды, которая выростала по мере нашего приближения к берегу. Пот и тающий снег заливали глаза, и ничего не было видно. Санки цеплялись за что-то. Борис забрался первым и, глядя на меня с высоты своего положения, смеялся. Он потом объяснил, что это была его месть за «нно».

Дома мы пили чай и обедали. Потом, не разгибаясь, совершили переход от стола к кровати. Я понял еще одну истину. Счастье человека в том, что он имеет возможность отдыхать. И еще счастье, что человек – всё-таки живой организм, и этот организм умеет восстанавливаться сам по себе – спасибо тебе, наша природа-мать. Всякая истина проста, это правда. И всё просто. Особенно, если есть возможность уснуть мгновенно и лежать в кровати.

...А утром – привычные толчки Бориса, надоевшая картошка и тусклый рассвет».

(Из повести «На Рыбинском море», 1960 г.)

Первая публикация

Поступление на заочное отделение института в те времена могло быть только при условии, что ты принесешь справку с места работы – в разгаре была хрущевская «борьба с ту-неядством». А я и на самом деле тогда работал – на автомобильном заводе станочником. Не помню уже каким образом познакомился с сотрудником заводской многотиражной газеты. Звали его Миша Румер. Узнав, что я студент первого курса Литературного института, он восхитился (это ведь была и его мечта) и попросил какой-нибудь из моих небольших рассказов, «прошедших творческий конкурс в Литинституте», для опубликования в своей заводской газете. Я дал на выбор несколько, и он выбрал «Зимнюю сказку».

Тираж газетки был маленький, гонорара, естественно, не платили, но я ждал с замиранием сердца: напечатают или нет?

Напечатали! Впервые в жизни я держал в руках отпечатанный в типографии свой текст, в котором была тщательно выверена мною каждая фраза, каждое слово. Его, слава Богу, не редактировали, и я видел: в рассказе моем сохранилась музыка – музыка слов, передающих музыку жизни – морозное утро, восход солнца, свежий пьянящий воздух, лунка – волшебное окно в подводный мир, торжество природы! В типографском тексте эта музыка не исчезла!

Мои родственники и знакомые, наконец-то, тоже отчасти зауважали меня – и за поступление в Литинститут, и за публикацию в многотиражке. Типографски напечатанный текст магически действует на людей... А Миша Румер надолго стал одним из моих близких друзей.

Но на центральные газеты и журналы мое поступление в институт не подействовало ничуть. Мне по-прежнему все возвращали. Конечно, я не прочь был написать что-то такое, что пробило бы стену непонимания, заставило бы их понять меня – увидеть, услышать! Но как? Изменять своим принципам мне, естественно, даже не приходило в голову – как ни мучился я постоянным непониманием окружающих, но все же по-прежнему считал свои рассказы хорошими, а себя правым. Однако выбрать другую, более «серьезную», что ли, с их точки зрения тему никак не получалось. По-настоящему писать можно только о том, что любишь (или наоборот ненавидишь), что волнует и что хорошо знаешь. А я пока любил по-настоящему только природу – рыбную ловлю, охоту – и красоту (в частности, женскую), а знал все-таки еще очень мало. И никого пока что не ненавидел. Что ж, вся жизнь впереди. Будем учиться. И – *жить*.

«Обязательно завтра»

В одном из молодежных журналов одобрили мой рассказ-очерк о рыбаке с Центрального рынка («Алексей»), но опубликовать его не удавалось никак. Заведующий отделом публицистики и очерка, Артем Захарович Анфиногенов, которому «Алексей» понравился, сказал, что дважды предлагал на редколлегии его опубликовать, но каждый раз отклоняли. Потому якобы, что Алексей крепко «закладывал» – о чем я честно написал, – а его доброта и любовь к жизни никак не могли реабилитировать «антисоциальное поведение».

Артем Захарович человек добрый, честный и совестливый, поэтому он, как бы пытаясь компенсировать неудачу, сделал мне предложение, от которого я был прямо-таки в восторге. Он предложил написать большой проблемный очерк «о преступности несовершеннолетних», которая в последнее время в нашей стране очень выросла. Причем главным образом речь должна была идти о преступлениях на половой почве – изнасилования и убийства. И от имени журнала мне была дана «зеленая улица» в комсомольские органы (вплоть до высшего молодежного органа – Центрального Комитета ВЛКСМ!), отделения милиции, прокуратуры, следственные изоляторы и даже тюрьмы. Вот это настоящая жизнь! Вот это ее глубины!

И я – ринулся. К этому времени я как раз ушел с заво-

да и занялся запрещенной «предпринимательской деятельностью» – фотографировал детей в детских садах. И свободное время у меня было. Я составил список и чуть ли не каждый день, как на работу, ходил по перечисленным инстанциям и заведениям, собирая богатейший материал для своего очерка. Это было нелегко, но это было захватывающе интересно! О каких только уголовных делах я ни наслушался, с какими людьми ни встречался, в каких только местах ни побывал! Дважды посетил тюрьму, СИЗО, несколько раз заходил в камеры для «несовершеннолетних преступников», ребят, и дважды побывал в камерах, где в ожидании суда сидели даже не парни, а – несовершеннолетние девочки...

Но самое поразительное – и мистическое! – что в то же самое время в моей жизни начался очередной любовный роман, причем с девушкой (вернее – молодой женщиной), которая по сути могла быть кандидаткой в героини моего будущего очерка, хотя ей было уже 26. Но изнасиловали ее, когда ей было 15. Причем с подачи ее собственной матери. И последствия той трагедии были соответствующими...

«Собирались, как всегда, у меня. Антон обещал прийти с Костей и девушками часам к семи. Уже часов в пять я начал готовиться: стирал пыль со шкафа, письменного стола, тумбочки, потом принялся подметать пол.

С утра отгонял от себя мысли о вечере, что-то даже пытался сделать в курсовой работе, над которой сидел с

понедельника. Но убираясь и подметая пол, ни о чем другом уже думать не мог. «Ерунда – успокаивал я сам себя, – ну что хорошего может получиться из нашей вечеринки? Неизвестно ведь, кто придет. Да и придут ли девчонки вообще?»

Выбросил мусор в помойное ведро, которое стояло в углу нашей коммунальной кухни, вернулся в комнату. Машинально глянул в окно. И увидел вдруг, что они уже идут по двору. А я даже не успел переодеться!

Поспешно выхвачена вешалка с костюмом из шкафа, натянута по-быстрому белая рубашка. И в этот момент раздается звонок в коридоре. Кто-то из соседей открывает дверь квартиры за меня.

Торопясь, завязываю галстук и слышу тяжелые шаги за дверью: первым, конечно же, идет Антон. Высовываюсь в коридор, впускаю в комнату Антона одного, прося остальных подождать, пока оденусь. Антон хохочет и оправдывается за слишком ранний приход. Наконец, верхняя пуговица рубашки под галстуком застегнута, надет пиджак, я распахиваю дверь и прошу всех входить.

Гости входят, в комнате тотчас становитсялюдно, шумно. Антон знакомит меня со всеми поочереди, я, как всегда, не запоминаю имен, потому что нужно говорить свое. Помогаю девушкам снять пальто, принимаю шарфики, шапки. Они осматриваются и одна за другой подходят к зеркалу старинного бабушкиного трельяжа. А я сажусь на тахту, переводя дух.

В эти первые минуты все три девушки у зеркала кажутся мне удивительно красивыми, от них пахнет свежестью и духами, с ними в мою комнату входит праздник. Антон, высокий, коротко, современно стриженный, спортивный, чувствует себя, как всегда, хозяином, он что-то говорит громко, хохочет. О Косте я не раз слышал от Антона, но вижу его впервые. Он разочаровывает: невысокий, крепенький, смугловатый блондинчик, тихий... А девушки щебечут наперебой, и голоса их звучат, как музыка. Все словно светлеет вокруг, и даже выцветшие и кое-где поотставшие от стен обои в комнате становятся ярче.

– Олег, вот что! Мы не успели в магазин забежать. Развлеки девчонок пока, а мы с Костей мигом! – весело говорит Антон.

Шумя, топая, задевая то одно, то другое на пути своим мощным телом, Антон выходит, за ним тихо выскользывает и Костя. А я остаюсь с девушками один. Напрягшись, собравшись внутренне, я встаю с тахты, прохаживаюсь по комнате, лихорадочно соображая, чем же мне их развлечь.

Одно имя запомнилось все-таки в сумбуре знакомств – Лора. Потому и запомнилось, что она сказала «Лора», а не «Лариса», хотя все звали ее Ларисой. Лора – первая, отроческая, самая-самая первая любовь, девочка одиннадцати лет. Это было в Лесной школе, и мучительное, неизжитое чувство осталось: медленная, тягучая, невыразимо прекрасная пытка, связанная и как будто почти не связан-

ная с маленькой, живой черноволосой девчушкой. Милое, милое создание – где она сейчас?... Девушки с детства были для меня словно существа с других планет, таинственные и чудесные...

Теперь, когда после ухода ребят начинаю приходить в себя и осматриваться, сразу бросается в глаза, что Лора – это как раз и есть самая эффектная из девушек, можно даже сказать очень красивая: черноволосая, с большими голубыми глазами, вся какая-то яркая, даже резкая на первый взгляд. Но – лишь на первый. Потому что тут же видна в ней и внимательность, мягкость. Причесываясь у зеркала и осматриваясь, она, конечно, замечает и обои, и выщербленный кое-где пол, и старый расшатанный нелепый столик в углу... Бросает быстрый взгляд на меня и тут же улыбается. Сочувственно, но совсем не обидно.

Едва поправив прическу, с веселой озабоченностью Лора просит воды. Я тотчас иду на кухню, наливаю воду в стакан, приношу. Но она не пьет. Достает из сумочки букетик подснежников – крошечный белый букетик, стиснутый листьями ландышей, – бережно развязывает, распеленывает его, выбрасывает жесткие листья, набирает воду в рот, обрызгивает нежные цветочки, любуясь ими, заботливо опускает в стакан и ставит в центре стола.

– Это мне один парень на улице подарил, красивый... – говорит она, гордая, и смеется.

Я замечаю, что в глазах у нее почему-то печаль. Или мне

только кажется?

Надо, надо их как-то развлечь! Я даю им ручной силомер, медицинский – это у нас в последнее время в моде. Они с визгами, возгласами поочередно сжимают его в своих ладошках, потом просят и меня. Я выжимаю много (как ни странно, я выжимал тогда больше Антона, хотя он на полголовы выше меня и значительно тяжелее).

Подруги Лоры несравнимо менее эффектны: одна молоденькая, лет двадцати, миленькая, но очень уж простенькая, другая – высокая, с меня ростом, лет тридцати, худая, с длинным носом и тяжелым, несоразмерно большим подбородком, застенчивая.

Лора подходит к радиоле, роется в пластинках и ставит не рок, не джаз, не что-то отвязное, быстрое, а – итальянского певца Джильи. Я внимательно смотрю на нее, и она отвечает мне веселым понимающим взглядом. Во мне словно бы разжимается что-то...

Наконец, ребята прибывают во всеоружии – бутылки выстраиваются на столе. Опять в комнате шумно. Долой Джильи – ставим веселую музыку! Начинаются привычные хлопоты по добыванию у соседей посуды, рюмок, Антон, как всегда по уговору, разыгрывает из себя тоже хозяина комнаты, ему это хорошо удается. Костя смазлив, галантен – типичный сердцеед: молчаливый, манерный, томный, с печальным, скучающим и как будто зовущим куда-то взглядом... Садимся за стол. Лора – между Антоном и Костей.

За окнами уже стемнело, и мы включаем маленький, «интимный» свет, дурачимся, поочередно выдумываем тосты, бутылки быстро пустеют...»

(Роман «Обязательно завтра», 1965 г. и далее...)

Та вечеринка оказалась для меня *исторической*. Дело в том, что в конце ее мы в комнате остались втроем – Антон, я и Лора. Антон очень хотел, чтобы все у нас «получилось», однако мне это представлялось совершенно невыносимым. Дело в том, что я... влюбился. И почувствовал явный ответ от Лоры. И «втроем» было для меня совершенно исключено.

Влюбился я болезненно, как-то «*по-достоевски*», то есть в этой любви было больше жалости и сочувствия, чем любования, больше сумасшедшей похоти, чем святости и уважения – хотя и то, и другое было... Само знакомство с этой эффектной женщиной было ведь ненормальным.

К тому времени я хотя и с мучениями и сомнениями, но состоялся все-таки как мужчина – на моем «счете» было аж пять женщин. Но как-то не очень выразительно... И чувствовал я себя отнюдь не мачо. Приятель Антон потом упрекал меня, говорил, что в ту ночь у нас ничего не состоялось из-за меня, а для Лоры такое вовсе не внове, что для нее это раз плюнуть. Она, мол, бывает с кем попало и, скорее всего, за деньги. Но я не верил.

Для меня несравнимо важнее была наша таинственная, магическая близость, что возникла между мною и ею в тот

вечер и ночь. И которая помешала тому, на что рассчитывал Антон.

И все шло параллельно. Я ездил по прокуратурам, милициям, тюрьмам, встречался со многими судьбами, которые казались мне просто чудовищными по степени свалившихся на людей несчастий... И – всего лишь три раза мы встречались с Лорой. Два раза были у меня – она отдалась мне в первый же раз, а потом и во второй. И было у нас нечто ошеломляющее – правда, ошеломляющее в основном для меня... Ничего подобного раньше у меня не бывало.

Да, всего встреч было лишь три, не считая знакомства на вечеринке, множества телефонных звонков и моих фантазий, страданий, снов, сочувствия и мучительного осознания невозможности как-то помочь ей в жизни.

«...Но вдруг я понял, какой могла бы быть жизнь. Словно занавеска на миг раздвинулась, и я глянул в окно. На ослепительный, залитый солнцем мир. С деревьями, птицами и травой. Радостный, свободный мир. Только на миг! Занавеска сдвинулась и закрыла... Пыльная, серая занавеска. Паутина. Я увидел свою убогую комнату и всю свою убогую, серую жизнь. Нашу жизнь.

А Лора вдруг начала рассказывать о себе. Много. Это был какой-то поток. Жалостный и тоскливый...

С 17-ти лет она фактически осталась одна. Отец бросил их и сошелся с другой, а мать беспробудно пила. Она

пила и при отце, пьянки устраивались, когда Лора лежала в детской кроватке за занавеской. С 13-ти лет к ней уже приставали («Я рано сформировалась», – сказала она), а в 15 один мамин ухажёр её изнасиловал. «Мне иногда кажется, что все мужчины скоты. К тебе это не относится, ты понимаешь, но вообще-то я не верю никому, ни одному человеку. Кругом одна ложь, я давно поняла. Все ненавидят друг друга. А ты... Ты какой-то особенный, но...»

– Что «но»? – тотчас вскинулся я.

– Да нет, не то, что ты думаешь, глупый. А просто ты такой же, как я, понимаешь? Неприспособленный.

Это было странно сказано, я не понял. Но не спрашивал. Я не был доволен собой. Ни в каком смысле. Что спрашивать? Мне опять было плохо. «Неприспособленный». Увы.

– Я, наверное, другая, не как все. Хочется по-человечески, а получается...

Так говорила она, а у меня ком стоял в горле. «Неприспособленный».

На работе к ней без конца пристаёт начальник. Не Костя, нет. Другой. К сожалению, он очень противен ей как мужчина («Знаешь, он такой толстый, потный»), и она никак не может заставить себя переспать с ним. А то бы... А то бы её, может быть, перевели на лучшую должность с приличной зарплатой. Он ей обещал. Сейчас она получает восемьдесят, копейки. «У некоторых это запросто получается, а я никак...» – сказала она и вздохнула. «Злюсь на се-

бя, а ничего не могу поделывать. С кем другим куда ни шло, а с ним ну никак. Он открыто предлагает, понимаешь... хотя бы в рот – ну, ты понимаешь... – а я... Ну, ты понимаешь...» Живут с матерью вдвоем в однокомнатной квартире – не так давно получили, а то жили и подавно в коммуналке, в бараке, – мать по-прежнему пьет, «не просыхая». С мужем не сложилось потому, что у него тоже есть мать, которая ее, Лору, невзлюбила. «Женищины вообще меня плохо переносят» – сказала она и улыбнулась грустно...»

(Из романа «Обязательно завтра», 1965 г. и далее...)

Что-то около двух месяцев я прожил в горячечном любовном и «рабочем» чаду. И при всем при этом, посещая «инстанции», я ведь должен был соблюдать некий *декор*: корреспондент журнала (орган ЦК ВЛКСМ!), молодой писатель, студент Литературного института им. А.М.Горького! Не к лицу мне стенать и рвать на себе волосы от горячего сочувствия и к жертвам, да и к самим «маленьким преступникам», сплошь да рядом не осознававшими, что они делают. Нужно что-то существенное придумать, принимать какие-то меры...

Но еще, ко всему прочему, я ведь сам был в какой-то мере – с точки зрения официальной! – *нарушителем закона*, ибо в то время ушел с завода, официально нигде не числился и зарабатывал фотографированием детей в детских садах частным образом, то есть занимался «кустарным промыслом»,

что у нас было, запрещено.

Так что я, помимо прочего, вынужден был опасаться милиционеров, фининспекторов, работников ОБХСС... По законам того времени я ведь был «тунеядцем», и меня самого теоретически могли привлечь к суду, крупно оштрафовать, выслать из Москвы. Конечно, до такого вряд ли дошло бы, но формально могло!

Кстати, один раз меня все-таки замели – по доносу «коллеги», работавшего фотографом от официальной организации на ВДНХ. Меня отвели в отделение милиции, составили акт. Через некоторое время ко мне в коммуналку нагрянул фининспектор, но, увидев бедность обстановки, сжалился и сказал, чтобы я написал заявление: мол, прекратил заниматься «кустарным промыслом» и сейчас устраиваюсь на работу... Я, естественно, написал.

Но очерк таким, какой нужен был для журнала, я написать так и не смог. Зато я написал... роман! Свой *первый роман*, содержащий в первом варианте что-то около 250 страниц машинописного текста. Назвал его так: «Обязательно завтра».

То есть, в результате всех своих походов, встреч и переживаний в связи с порученным очерком я понял лживость и путаницу нашего существования, жестокость и неумолимость большинства «взрослых» людей, особенно «вышестоящих». Я увидел чудовищное переплетение судеб, сумбур, непонимание друг друга, фантастическую смесь любви и ненависти

в головах современников. Но при этом осознал свою незрелость, неумелость, беспомощность. И обещал сам себе, что *завтра... обязательно...* Научусь, преодолею, помогу хорошим людям, сумею... И – обязательно напишу об этом!

Фактически это получилось у меня то, чего я подсознательно и хотел – документальный, до предела честный (как я понимал), большой, солидный очерк. От первого лица, естественно. Этакая исповедь и крик боли.

Но ведь именно такое всегда и было свойственно настоящей русской литературе – «самой человеческой литературе мира», как я где-то прочитал и как с уверенностью считал сам! И я гордился тем, что сделал. Нет ничего важнее правды. А я писал правду так, как я ее видел и понимал. Честно.

Последствия

Рассчитывать на скорую публикацию романа было бы, конечно, полным безумием. Все-таки не настолько я был наивным и сумасшедшим. Но... «*Пепел Клааса стучал в мое сердце*», и я начал с того, что стал давать читать рукопись всем своим родственникам и знакомым подряд...

Да, это не выстроенный по литературоведческим канонам роман и, может быть, даже не повесть в обычном понимании. Но это – *правда жизни!* Какая разница, как назвать! Это – искреннее и документальное *нечто*, просто вопящее о том, что происходит вокруг, взывающее к совести и человечности, взаимопомощи, взаимоподдержке, честности, искренности, мужеству! Не в этом ли была *истинная суть* советской идеологии?

Но, увы, «линия Лоры» в моем сочинении оказалась самой вопиющей красной тряпкой не только для редакторов, но и для кое-каких моих знакомых и приятелей, которым я давал читать рукопись. Они с таким искренним как будто бы возмущением осуждали Лору за ее «пустоту, развращенность, продажность», а меня за «искажение позиции морального плана», за «нестойкость и аморальность»!

Я опять в буквальном смысле слова обалдевал...

Эти «читатели», что, такие все безгрешные, «стойкие и моральные»? Ведь Лора не только не принесла мне никак-

го зла, а – наоборот! Она бескорыстно *подарила* мне такую близость, какой у меня не было никогда! Хотя прекрасно понимала, что взять с меня нечего. Она изо всех сил пыталась устроить свою судьбу – «Мне 26, пойми, я не девчонка!» – а потому в этом плане встречи со мной были ей не нужны и даже рискованны – я был неопытный, и она могла «залететь». И в мужа ей я, разумеется, не годился, да и не хотел. Но она подарила мне свою искреннюю – в этом я не сомневался ничуть! – БЛИЗОСТЬ...

И я не обхаживал, не задабривал ее, не упрашивал. «Какой ты хороший!» – сказала она мне в ту ночь, когда я повел себя так, что задуманное Антоном не произошло. Ее слова были искренни! А то, что начиналось по-другому – так не она же спровоцировала это, а Костя с Антоном! Но они же ее потом и обвиняли в том, что она с нами осталась. Ее, *а не себя!*

И те редакторы, что отвергали мою рукопись за «искажение позиции морального плана», были на самом деле гораздо хуже ее! Они-то как раз по-настоящему продавали себя, не имея своего мнения – они подчинялись Системе, которую многие из них ненавидели. Ненавидели откровенно и порой даже не скрывали этого! Но – подчинялись, служили! Продавали себя за деньги и «положение в обществе». Вот они, редакторы, и есть настоящие проститутки! Они даже не пытались противостоять Системе, ненавидя ее, они не делали ничего бескорыстно! Они – в отличие от Лоры – даже не по-

пытались *понять и меня, и ее*, не потрудились вдуматься в суть моего романа. И Лору высокомерно *судили* за то, что она осталась с нами двоими, а потом отдалась мне бескорыстно! «*Какой ты хороший*» было выше их понимания... Так кто же *на самом деле* «искажал позицию морального плана»?

То, что редакторы отклоняли мою рукопись, я как-нибудь стерпел бы. Сказали бы честно: *мы боимся печатать это, потому что нас могут за это уволить*. Это бы я стерпел, это я мог бы понять. Но нет! По всему было видно, что они *искренне не понимали суть* моего романа и *не хотели* ее понимать! – вот что удручало крайне! Система развратила, подчинила их полностью, переродила! Они предали свое божеское, человеческое начало и судили других совсем по иным меркам, чем обожаемых себя – вот что самое мерзкое! Лора, по их мнению, – «падшая», а они, наоборот, очень честные и хорошие! Интересно, как повели бы они себя, если бы их жизнь с самого детства сложилась так, как она сложилась у Лоры?

И они ничего не хотели понять даже тогда, когда я пытался им объяснить, всячески аргументируя то, что написал и почему именно так! Я же *не о себе* писал – я писал *обо всех нас*! А некоторые считали, что я хочу опубликовать роман исключительно из своих личных соображений, чтобы получить гонорар... Это же дурь несусветная – разве так трудно было понять, что для опубликования, для получения гонорара нужно написать нечто совсем другое, а я могу! Ведь все,

как один, соглашались, что роман *хорошо написан!*

Они не хотели слушать! И не хотели думать! Они не сочувствовали ни Лоре, ни сбившимся с пути, преданным, обманутым всеми – и родителями, и обществом – «несовершеннолетним преступникам», которые стали ими по вине обстоятельств. И это при том, повторяю, что они считали себя хорошими, добрыми людьми, гражданами страны, строящей Светлое Будущее для всего человечества!

Правда, некоторые – их было немного, и это были, конечно же, не редакторы, а «простые читатели», но они были! – эти некоторые, ровно наоборот, читали мою рукопись со слезами и говорили, что это великолепная вещь и если бы она была опубликована, то я бы стал знаменитым писателем... Она непривычна – так у нас не пишут, – потому-то и необходимо, чтобы она была именно *опубликована* – только тогда ее смогут понять! Но тут же они добавляли, что ее, разумеется, никто не опубликует...

Очевидно, что это-то и были настоящие люди. Они не считали себя особенными, но они *видели правду!* Они видели, что все вокруг утонуло во лжи. В жестокости, высокомерии, лицемерной гордыне. И они понимали, что мой роман заставляет *думать*. Но они просто не имели возможности мне помочь...

После каждого прочтения кем-то, особенно если прочтение было доброжелательным, я что-то переделывал в рукописи, уточнял детали, прописывал неясные места, заменял

слова на более точные – вовсе не поддаваясь, а именно вслушиваясь в замечания и советы, отвергая, разумеется, то, что противоречило моим мыслям и чувствам, но с благодарностью – со стороны ведь действительно иной раз виднее (если человек действительно смотрит и смотрит не мимо)! Дважды я чуть ли не переписывал всю рукопись, не меняя, разумеется, ничего по существу, но добиваясь четкости – и тогда, чтобы не тратить время на механическую работу, отдавал текст со вставками и исправлениями машинисткам (компьютеров тогда не было).

Одна из машинисток с раздражением сказала:

– Я взяла эту работу и выполню ее. Но хочу вас предупредить: никто не напечатает это в нашей стране. А если вы будете распространять подпольно или передадите за границу, то вас посадят.

Честно говоря, я почувствовал себя весьма неуютно: она ведь могла настучать «куда следует». Но в то же время был абсолютно убежден: ничего «антисоветского» в рукописи не было! Если, конечно, считать советским то, что считается таковым официально. То есть если на самом деле: *«Мир, труд, свобода, равенство, братство и счастье для всех людей»*. Но откуда же такое раздражение у машинистки? Она же говорила с явной неприязнью ко мне. Почему?!

Ну разве же все это не *колдовство*?

«Подкидыш»

Все же я старался не унывать. Как-то смирился с тем, что роман мой действительно в ближайшее время не опубликуют. А вот рассказы хотелось бы! Их у меня было уже не меньше десятка. Хотя «социальных», правда, пока что ни одного. Что бы такое придумать все-таки?

После ухода с завода и существования в роли «фотограф-тунеядца» некоторое время, я опять устроился на завод, сначала по специальности слесаря-сборщика, а потом подсобного рабочего, то есть грузчика.

А когда был слесарем-сборщиком, то мы сначала собирали автомобильные моторы, а потом меня в числе других сборщиков направили на участок, где собранные моторы слегка переделывали для нужд каких-то военных. А рядом с нашим участком была ЛИДа – Лаборатория Испытания Двигателей, – где собранные моторы ставили на стенды и запускали, отлаживая до нужной кондиции. Несколько раз я туда заходил, наблюдал, как это делается, и было это весьма-весьма интересно.

«Его звали Фрол.

Как всегда, он приходил на свое место минут на двадцать раньше, когда еще возилась у стендов полусонная, с красными набрякшими глазами ночная смена. Как всегда, шел от

раздевалки по громадному помещению цеха между теплыми замасленными серыми боками станков, привычно лавируя между ними, чтобы не идти по проходу – там дальше. Как всегда, его сразу же охватывал и слегка оглушал знакомый шум и запах теплого машинного масла, гари, горячего металла...

Сначала он шел по участку цеха шасси – здесь стройными безлюдными рядами высились станки-автоматы; за ними сверлильные станки и маленькие станочки для нарезки гаек – здесь работали только девушки и женщины, сосредоточенно, ловко орудуя руками, коричневыми и блестящими от масла, стекающего с резьбонарезных стержней... Затем конвейер моторов, по которому медленно, тоже полусонно ползли рождающиеся остовы моторов, подставляя свои бока рабочим – их сильным, ловким, иногда цепким, играющим, иногда уставшим и вялым рукам...

Потом дверь в ЛИДу, подвесной конвейер с готовыми уже моторами, похожими на какие-то странные пушки, уже окрашенные в серебристый самолетный цвет, плывущие медленно и величаво, пока еще мертвые, но уже готовые к тому, чтобы руки испытателей – и его тоже – оживили их, дали им долгую или недолгую жизнь. Правда, над их дальнейшей судьбой он уже был не властен, но мог сделать все, чтобы подготовить их по мере возможности к жизни полной, бесперебойной, когда так весело и бесшумно работают клапаны, бежит по «рубашке» масло, и вертится, вертится

безостановочно, сильно и плавно маховик. Тогда летит вперед автомобиль, и дует свежий упругий и холодный ветер, и торопится обжигаящая вода в радиатор, чтобы оттуда вернуться новой, блаженно-прохладной, и снять усталость с перегретых, натруженных внутренностей мотора.

И Фрол не спеша, с солидной, спокойной осмотрительностью входил в ЛИДу – широкое и длинное помещение с тремя рядами стендов, на которых удобно лежали моторы, повернувшись стволами удлинителей в сторону широких зарешеченных окон...»

(Из рассказа «Подкидыш», 1963 г.

(журнал «Новый мир», №9, 1965 г.)

Мотор – если, конечно, проникнуться к нему уважением, понять его и как бы даже полюбить – существо почти живое. Он сложно устроен, он работает сам по себе, если его, конечно, кормить бензином, смазывать маслом. И он во время работы нагревается! Как живой... И еще любопытно: каждый мотор имеет свои небольшие особенности, свой индивидуальный характер.

Однажды я наблюдал интересную сцену: в ЛИДу принесли старый, заржавленный мотор, и один из испытателей отнесся к нему, как к живому: пожалел и решил его не отправлять в переплавку, как положено, а – отладить. Честно говоря, сейчас я с уверенностью не могу утверждать, что именно видел такое. Не исключаю, что просто фантазия пришла мне

в голову... Тем более, что случилось это в то время, когда я еще совсем не остыл от Лоры и от своего «очерка».

Ну, в общем я решил написать на эту тему рассказ «производственный». Все эти чертовы редакторы, рецензенты, колят меня за то, что я не пишу на нужную, то есть «производственную» тему? Пожалуйста! Хотя на самом деле это, разумеется, была моя тема, то есть нормальная, человеческая – о добре и зле, о сочувствии и равнодушии, о лжи, лени, дурри и – об истинных ценностях жизни. Просто на «производственном материале».

У нас ведь в Советском Союзе как-то так повелось, что ценности природные, истинно человеческие, вовсе не ценятся, они «несерьезные» – листики, букашки, птички-рыбки, красота, внимание ко всему, уважение, добро-сочувствие... А вот то, что «создано трудом человека», «планов громадье, размаха шага саженьи» – это да, это серьезно! У нас ведь «человек проходит как хозяин» и «кто не с нами, тот против нас»! А Бога, разумеется, никакого нет, Бог – это выдумка религиозных шарлатанов, «опиум для народа».

Ну так вот и пусть действие моего рассказа как раз и проходит среди созданного «трудом человека» – на заводе. Среди станков, масла, металла... Это ведь и на самом деле мир рабочего, которого я выбрал в герои своего рассказа.

Фокус же в том, что все остальное я оставил человеческим, то есть Божьим. Мой герой – я дал ему оригинальное имя «Фрол» – вынужден жить в мире металла, масла, элек-

тричества – в мире Системы, – но душа у него *живая*. Он не только не поддается окружающему бездушному «производству», он не поддается и советской бездушной действительности вообще – не поднимает руку на митинге, на котором все вокруг привычно, не раздумывая, голосуют «Все, как один! Одобрямс...», не занимается никакой демагогией, не прочь распить бутылочку «на троих», но – главное! главное! – он не теряет совести и не умерщвляет душу. Относясь к моторам как к живым существам, он бережно и с любовью выполняет свою работу, а когда в лаборатории оказывается бесхозный, слегка заржавевший, «неблагополучный» мотор – «подкидыш», – он решает отремонтировать и отладить его в числе других, «благополучных». Ведь люди трудились, создавая его. Зачем же его выкидывать?

Да ведь он, Фрол, и сам тоже как бы подкидыш в этом бесчувственном, лживом мире – не понимает он пустой демагогии и бесконечных обманов властей, этакой игры в добро вместо добра, игры в любовь вместо любви – то есть явной лжи и примитивной капитализации советского общества...

И, к тому же, не так давно умер его единственный сын (хотя было это еще до Афгана, Чечни и треклятого ельцинизма, когда непонятно за что не только пожилые, но и молодые стали умирать тысячами...). Вот и берется он за «неблагополучный» мотор. И – отлаживает его, вопреки даже запрету начальника ЛИДы. То есть вот вам, лгуны, лицемеры, служители и рабы Системы, – нате, выкусите! Вы хотели списать

это несчастное существо, отправить его в переплавку? А я вам не дам! Вы же сами все заржавлены, людишки слепые, ничтожные. Только ваша ржавчина – изнутри, ее как бы не видно. А я докажу вам, что и заржавленный при большом желании может стать вполне здоровым... В отличие, между прочим, от вас.

Ну, разумеется, всего такого мой Фрол не говорил и даже не думал. Это думал я за него, а он просто отлаживал мотор, потому что живое сердце рабочего человека не могло отправить на переплавку труд тех людей, которые мотор собирали. А если какая-то сволочь про него напрочь забыла и в угол поставила, то мотор-то не виноват! Фрол поставил его на стенд, проверил и увидел, что неисправность – ничтожная. И, отлаживая его, даже добывая для него недостающие детали со склада, он испытывает к мотору нежность. Чуть ли не как к сыну. А когда, вычистив, починив и отладив, отправляет его на конвейер сборки, то чуть-чуть пускает слезу и шепчет: «Ступай, сынок. Ничего...»

Написал я этот рассказ, можно сказать, молниеносно. Ведь все хотя и реально по сути, но придумано ведь. А это легче. Гораздо легче, чем разбираться в том, что происходит на самом деле, в действительности, и сомневаться, сомневаться, сомневаться...

И назвал я свой рассказ так: «Ступай, сынок...»

Естественно, сразу отнес в пару каких-то журналов. И из обоих мне его аккуратно вернули. Рецензенты упрекали за

«перегруженность производственными терминами» (но ведь это – мир рабочего Фрола! – негодовал я) и за то, что Фрол, опять же, *закладывает* (но ведь и это – правда!). «Не видна благая роль партийной организации на заводе, – писал один из рецензентов, – к тому же ваш герой непонятно почему игнорирует митинг, видимо, *антивоенный*».

Ну что с ними делать? От этой дури я приходил в себя месяца два, но все же опомнился и обнаглел: понес рассказ не куда-нибудь, а в «Новый мир», наш самый лучший, самый честный журнал под руководством Твардовского, не так давно напечатавший солженицынского «Ивана Денисовича».

Позвонил в назначенное время – недели через две, быстрее они никогда не читали, – сотрудник сказал: «Приходите».

Я пришел.

За столом в отделе прозы сидел молодой человек, блондин.

– Прочитал, – сказал он. – Хороший рассказ. Но нельзя же уж так-то.

И он протянул мне мою рукопись.

– То есть как это «так-то», – совершенно недоумевая, спросил я.

– Ну, слишком все мрачно у вас. Этот рассказ не пройдет. Слишком. Вы в Литинституте учитесь? Принесите еще что-нибудь.

У меня перехватило дыхание. Казалось: будь у меня ре-

вольвер (как у американских ковбоев – кольт, например...) – наставил бы на него в упор. Как еще с ними говорить? Но револьвера у меня, к счастью, не было, я взял рукопись, повернулся и ушел. Сволочи паршивые! А что, у Солженицына не мрачно? А что, в других рассказах и очерках, которые совсем недавно печатались в этом журнале не «так-то»? И причем тут вообще «мрачно»? Это – жизнь! Она такая. Не нравится – надо жизнь менять, а не заставлять писателей врать. Мертвые души! Я просто не знал, что делать. Самое поразительное, что это – в «Новом мире», самом лучшем, самом честном нашем журнале! Если здесь так, то куда же... Это же не люди! Автоматы какие-то.

Как выяснилось потом, это был будущий известный – особенно в диссидентских кругах – драматург! Известный, повторяю, не в каких-нибудь, а в «левых», «диссидентских» кругах! То есть по взглядам он был как будто бы такой же, как я! И вот вам: «Не пройдет!»... Тогда я не знал этого, да и не мог предполагать, что он станет достаточно широко известным и именно «левым», то есть как бы «честным», и что у него будут действительно неплохие пьесы... Но теперь понимаю: это было знаменательно! То есть теперь стало для меня знаменательным и... многое прояснило из того, что случилось в стране потом. И по поводу «диссидентов» особенно. Но тогда...

Тогда я опять чуть не сдвинулся. Стена! Железобетонная стена! Если «рассказ хороший», но, несмотря на это, все рав-

но «не пройдет», даже в этом – лучшем! правдивейшем! – журнале, причем он ведь еще и на выигрышном – «производственном»! – материале, то на что же вообще рассчитывать?! И ведь сотрудник этот по сути даже никак не аргументировал свой отказ! Просто вернул мне рукопись, и все. Как ни в чем не бывало! Мол, вали отсюда, не до тебя! Он не только не дал рассказ «выше» – на редколлегию, он даже не поговорил со мной, не счел нужным что-нибудь объяснить! Отпихнулся, и все. Равнодушно! Бездушно! Как ни в чем не бывало. Но, повторяю, я тогда о том, что он «левый», не знал.

Но что же все-таки делать?

Прошла неделя, а может быть и больше. Я дал почитать рассказ человеку, с которым тогда дружил, тоже будущему писателю и тоже ставшему впоследствии весьма известным – Володе Маканину. Может быть, не тот блондинчик из редакции сошел с ума, а я? Рассуди, Володя... И рассказ моему другу очень понравился.

– Сходи еще раз, – сказал он. – Это наверняка какой-то случайный сотрудник был. Или трус, или дурак, или просто сволочь. Иди прямо к заведующему отделом прозы. А то и к самому Твардовскому... Отличный рассказ! Там, в редакции, вся эта мелкота вокруг Твардовского крутится... Это же мыши, настоящие серые мыши...

И я пошел вновь. Молодого человека на этот раз не было, а была молодая женщина, которую звали Инна Борисова.

– Оставьте, – сказала она. – Нет-нет, к заведующему так

просто у нас не принято, а уж к Твардовскому тем более. Что вы... Оставьте, оставьте, я обязательно прочитаю. Вы в Литинституте, говорите? На каком курсе?

Читала она приблизительно месяц. Рассказ ей «очень понравился». Она по телефону сказала, что дает его «наверх», то есть заведующему отделом прозы, потом членам редколлегии... Конечно, для меня это был праздник, хотя, пока еще ничего неизвестно...

Заведующему отделом прозы и членам редколлегии рассказ понравился тоже, попросили, правда, заменить название. Я предложил – «Подкидыш». Согласились.

И – о, чудо! – в конце концов (всего через полтора года...), его опубликовали! В самом престижном, самом благородном и честном журнале того времени (а, пожалуй, и всего послереволюционного времени в России)! И мне сказали, что о нем очень хорошо отзывался сам Александр Трифонович Твардовский.

Да, это было настоящее чудо! Всего-навсего полтора года мой «производственный» рассказ ждал своего опубликования в журнале, всего-навсего... И отредактировали не сильно... Для того времени – большая удача!

То меня не признавали нигде – ни в журналах, ни даже в газетах, – а то вдруг признали в самом-самом лучшем журнале! Правда, года через два и со второго захода... Но признали же!

Тут ради справедливости надо добавить еще одно. Пока

длилась вся история – прочтение, редактирование, «постановка в план», верстка, печать, – я принес свой рассказ на обсуждение в Литинститут. (Да, да, получив тогда «зачет по творчеству» за присланную повесть «На Рыбинском море», я решил регулярно посещать-таки «творческие семинары», чтобы выработать «носорожью кожу»...). И – выдал «на обсуждение» своего «Подкидыша». Тут картина была совершенно другая, чем на «обсуждении» первом. Мой рассказ поняли и оценили «семинаристы»! И меня, кажется, даже за-уважали... «Отличный рассказ у тебя, – сказал один из прочитавших. – Выпить хочется после него...» Правда, на семинаре знали уже, что рассказ вот-вот опубликуют в «Новом мире», к тому же он был «производственный»...

И все-таки давать им на суд свой роман «Обязательно завтра» я пока не стал: во-первых, он не «производственный», а во-вторых, слишком образно там, ко всему прочему, были описаны первые «семинары» и «обсуждения» в Литинституте...

Почем синь неба

Но и публикация большого рассказа в лучшем «толстом» журнале страны не изменила моего положения. Другие рассказы все равно возвращали отовсюду, как и раньше. А те знакомые, что знали меня, удивлялись: почему это я, автор ставшего известным «Подкидыша», продолжаю писать о такой ерунде – рыбная ловля, девушки, красота природы, мимолетные эротические переживания молодого человека... «Писал бы на производственную тему о рабочих – получается ведь! И – печатали бы!»

Наконец, я решил-таки снова дать в какие-нибудь журналы, и в издательства свой роман. Реакция везде была почти одинаковая, разница только в степени осуждения меня, автора, за аморальность, «неразборчивость», «безыдейность». А то и за «антисоветчину»...

Муж моей двоюродной сестры, Валентин, работал главным инженером в одном из строительных управлений (СУ). Он рассказал о том, как однажды в отраслевой обком партии пришла анонимка о том, как в одном из самых передовых управлений города («краснознаменном»!) творятся беззакония, но все сходит с рук руководству. Вообще на анонимки реагировать не положено, но в этой были очень уж убедительные цифры и факты, а потому решено было все же организовать ревизионную комиссию. Причем по-серьезному –

не для «галочки», а без предупреждения, внезапно. Тем более, что у того, кто организовал (первый секретарь отраслевого обкома партии), были в связи с этим свои шкурные интересы... Естественно, что комиссия тут же и вскрыла возмутительные факты, однако... Однако они были настолько ошеломляющи, что их решили замять. Ведь – ко всему прочему – начальник СУ был двоюродным братом одного из заместителей министра...

История, в общем, рядовая (если не считать честно организованную ревизию). Но – весьма показательная. И мы с Валентином решили, что она очень даже годится для написания мною «производственного детектива». Тем более, что как раз в это время мы с ним прочитали отличную книгу американцев Ч.Нибела и У.Бейли «Семь дней в мае», и нам обоим очень понравилась форма изложения. Каковой решил воспользоваться и я. То есть я решил написать свой «социалистический детектив».

Загвоздка была в моем незнании «производственной фактуры» – я ведь сам никогда не работал в строительном управлении. Но зато Валентин хорошо все знал, к тому же у него была цепкая память, и он умел объяснять. Три вечера я приезжал к сестре, и мы с Валентином беседовали – я устраивал «допрос» на производственные темы, он обстоятельно отвечал, а я записывал.

Так как история была действительно типична для того времени, к тому же в ней содержалась главная проблема и

причина бед советского периода нашей жизни – вранье, показуха, лицемерие и т.д. – а также страх, боязнь говорить правду, – я понял, что повесть может получиться действительно стоящей. И моей, а никакой не дежурно-производственной. С энтузиазмом я за нее взялся. Понимая, что главное, за чем нужно следить – не увлекаться, не лезть слишком уж в глубину, не давать себе полную волю...

Писать ее – так же, как и «Подкидыша», – было очень легко. От третьего лица, причем «полифонично», когда одно и то же событие описывается с позиции то одного участника, то другого. Копаться в себе, пытаясь оценить свои собственные поступки, вскрывать их причины, рефлексировать и сомневаться вовсе не нужно – конструкция ясна и понятна, причины известны заранее, ибо с самого начала существует тема, идея, замысел. Так что написал я быстро, за два-три месяца. Получилось что-то около 120 страниц на машинке.

Основная суть моего «детектива» в том, что самое главное для человека – говорить правду и поступать по совести, то есть, как выразился потом Солженицын, «жить не по лжи». Сюжет заключался не столько в организации внезапной комиссии и ее работе, сколько в том, как поступал каждый из ее участников, когда вышестоящим начальством был дан ход назад. Как перед каждым участником (знавшим, естественно, правду) встал вопрос: говорить правду или не говорить? Как обычно: говорить правду невыгодно и даже опасно, однако лгать противно. Каждый сам решает этот вопрос для

себя.

Лично я считал, что в самих идеях социализма и коммунизма нет ничего плохого. «От каждого по способностям, каждому по труду» или «От каждого по способностям, каждому по потребностям» – разве это не достойные лозунги? Беда же в том, что их самым бессовестным образом искажают те, для кого основное и главное в жизни – СВОЯ выгода, независимо от того, вредит это обществу в целом или не вредит. Главное для них – власть, собственное благополучие, а других хоть на свалку, хоть на бойню. И беда в том, что именно эти люди захватили власть в Стране Советов, отчего и возникло то, что возникло. А поддерживается власть системой бесконечного вранья. Все очень просто.

Так вот, когда сначала участников ревизионной комиссии настроили на честную проверку, а потом наглым образом потребовали лгать, то тут-то и встал перед каждым из них вопрос: подчиниться или не подчиниться приказу? Я и попытался от лица каждого из героев этот вопрос решить – так, как решалось обычно в те времена. То есть подавляющее большинство, конечно, подчинялось, врало. Кто от страха за себя или своих близких, кто из шкурных, карьерных соображений, кто по привычке. Врали, хотя и мучались порой от собственного ничтожества...

И только один человек из комиссии, самый слабый на первый взгляд, в последний момент нашел в себе силы сказать правду... Он – головой в воду! – встал на заседании партбю-

ро и... сказал. Сказал немного, но – правду. Тут и поднялся среди начальства этакий переполох... Конец был неясен, я оставил его открытым, чтобы каждый читатель, значит, попытался поставить этот самый вопрос перед самим собой. И попытался пофантазировать, что ему за это будет...

Назвал я свою повесть так: «Почем синь неба». Выспренно, пожалуй, но по сути верно: если хочешь наслаждаться синью неба и радостью жизни, то не ври. Хотя это порой весьма и весьма чревато... Написав, я стал по обычаю давать повесть читать в первую очередь своим знакомым.

Это было совсем не то, что с рассказами или романом. Почти все отзывались прекрасно! Правда, они теперь знали, что я автор «Подкидыша», опубликованного в «Новом мире». Но самое главное было, пожалуй, в том, что, во-первых, детектив, а во-вторых, привычная фактура: производство, комиссия, партбюро... Всем знакомо! Не то, что красота, любовь, сочувствие, девушки...

Единственный из моих друзей и близких знакомых, чье мнение меня очень удивило, был журналист Миша Румер – тот самый, благодаря которому была когда-то опубликована в заводской многотиражке «Зимняя сказка». В Мише в последнее время стали проявляться странные тенденции: после публикации моего «Подкидыша» не где-нибудь, а в «Новом мире», он стал относиться ко мне не лучше, а хуже... Он ведь тоже хотел быть писателем, мечтал напечататься в «Новом мире», писательское «звание» вообще было для него,

как я ощущал, весьма престижным. Но с рассказами у него никак не клеилось... Он работал теперь в одной из центральных газет, писал очерки и статьи исключительно на производственные темы, ездил в командировки. Отношения между нами становились почему-то все более и более отстраненными... Мой многострадальный роман ему тоже совсем не нравился. «Старик, – говорил он, – у тебя это не проза, не публицистика. Ни то, ни се. Тебе надо бы остановиться на чем-то одном. Публицистика – это не шутка, это очень серьезно. Тебе этот роман не удался, поверь, зря ты его без конца переделываешь».

Я, разумеется, с ним не соглашался, но было все-таки грустно.

Расхождения возникли также между мной и моим приятелем, Володей Маканиным. Раньше он писал рассказы, а теперь сотворил роман. И то, и другое мне нравилось, я считал своего друга настоящим писателем, очень талантливым. Но его роман в «Новом мире» не приняли, что настроило его резко против этого журнала (он, кстати, вовсе не считал талантливыми и солженицынские рассказы). Однако роман был-таки опубликован в другом вполне толстом и многотиражном журнале «Москва» (его тираж был даже больше, чем новомировский). Но прежде, чем опубликовать, его долго редактировали, редактор совершенно бессовестным образом его «причесывала». Мой друг, хотя и с трудом – постоянно делясь со мной и страдая, – все же с этими уродствами

соглашался. Я не мог понять его уступчивости, мы спорили на эту тему, но он кричал, что для него самое главное, чтобы роман все-таки вышел. Роман вышел, дал моему другу множество разного рода дивидендов, но боюсь, что история с его публикацией сильно и навсегда надломил моего друга. Впрочем, это особая тема.

Превратности судьбы

Конечно, я отнес свою рукопись «Почем синь неба» в «Новый мир». Отзыв рецензента был в принципе хорошим. Редактор Инна Борисова пообещала, что будет читать сама. И вот тут начался опять дико странный период в моей жизни.

Сначала Инна просила позвонить через месяц (хотя прочитать 120 страниц машинописного текста можно было часа за 3-4, а просмотреть и того быстрее – ведь рецензия уважаемого ими рецензента уже была). Но так, очевидно, было принято: если ты пока еще «не раскрученный», сиди и жди. И не такие, как ты, ждут. Все ж таки лучший журнал страны...

Меня особенно удивляло другое: тема-то очень злободневная и выигрышная для них! Ничего особенно сногсшибательного журнал не печатал, так что дело не в конкуренции. Твардовский отзывался о моем рассказе «Подкидыш» очень хорошо – я, следовательно, «перспективный». В рецензии тоже было по сути сказано: тема нужная! Так в чем же дело? Разве можно так тянуть?

Но самое печальное: уже что-то начиналось в Чехословакии... Момент некоторого цензурного послабления, в результате которого была напечатана повесть А.И.Солженицына «Один день Ивана Денисовича», а потом и рассказы, можно ведь было и упустить: похолодание наступало... Где-где, а уж в самом «левом» журнале страны не понимать этого не

могли.

Однако через месяц Инна не прочитала.

– Сдаем номер, у нас самая запарка, позвоните через недельку...

Через недельку я никак не мог ее застать – то ли она болела, то ли уезжала куда-то. Когда же дозвонился, наконец, она сказала, что идет в отпуск, и вот когда вернется, тогда и...

Сейчас тяжело вспоминать: история «прочтения» длилась... больше года. Чего я только ни передумал за это время и даже попытался дать повесть еще в два «толстых» журнала. Самое нелепое во всей истории, что никаких объективных причин для такой тягомотины не было! Не было никакого особого неприятия по отношению ко мне в журнале, не было у Инны Борисовой каких-нибудь чрезвычайных происшествий! А просто – в порядке вещей... У других «молодых писателей», моих знакомых, читали тоже невообразимо долго – так у нас повелось. Меня-то хоть грело, что первая рецензия довольно-таки положительная. Это давало надежду...

Знакомства с двумя другими «толстыми» журналами получились забавными. Официальную рецензию из журнала «Москва» мне вручили месяца через два, она была положительная, хотя выглядела странно: целые абзацы машинописного текста замазаны черной тушью. Что ж там было написано? Разобрать сквозь тушь было невозможно, а хотелось. Простая мысль пришла мне в голову: я намочил в воде ват-

ку и осторожно смыл тушь... Замазаны были самые лестные для меня высказывания рецензента, его заявление о том, что повесть должна заинтересовать журнал. А замазала их, очевидно, редактор отдела Диана Варткесовна Тевекелян, возвратившая мне рукопись с отказом. Дело в том, что замазаны абзацы были той же тушью, какой написано отрицательное редакторское заключение...

Из другого «толстого» журнала – «Октябрь» – рукопись мне вернули даже и без рецензии, причем с негодованием, сказав, что заместитель главного редактора, прочитав, заболел от расстройства и даже попал в больницу: я, мол, очернил дорогие всем идеалы...

Конечно, сейчас вспоминать это не только грустно, но и смешно. Но тогда было совсем не до смеха. Ведь я уже был автором неопубликованного романа, двух неопубликованных повестей, полутора десятков рассказов, один из которых был все же опубликован, причем в самом престижном журнале страны и получил самые хорошие отзывы, но... Росло ощущение глухой стены. У Мартина Идена – как и у самого Джека Лондона – публикации в журналах как бы пробивали дыры в плотине равнодушия рецензентов. Они работали на плюс. В нашей же стране хорошие публикации, наоборот, настораживали начальство – работали на минус... Мне, например, прямо сказали, что публикация «Подкидыша» в «Новом мире» не положительно, а отрицательно повлияла на мое реноме у руководства Литинститута...

Я все ясней понимал, что вариант Мартина Идена – в том смысле, что, пробив брешь публикацией «Позора солнца», он быстро стал знаменитым, и прочие его вещи пошли одна за другой – этот вариант в нашей стране невозможен. Халтурить, подстраиваться под вкусы властей, сочинять вещи «советские», «проходные» я, естественно, не собирался. Но хорошо понимал, что каждая НАСТОЯЩАЯ вещь будет идти с трудом. И, возможно, чем дальше, тем будет труднее...

Вспоминая обо всем этом теперь, я сам удивляюсь: как выжил? И хорошо понимаю: если бы не природа – с рыбной ловлей, выездами просто так, с любовью к «букашкам», растениям, – если бы не путешествия на велосипеде, и если бы не искренняя любовь и уважение к очаровательным существам противоположного пола, то... Ау, Март Иден, я все чаще думаю: именно «букашек», путешествий и трепетного отношения к девушкам тебе не хватало...

Тягомотина с «прочтением» Инной Борисовой моей повести удручала крайне. Я просто не знал, что делать. Пытаться пробиться к самому Твардовскому мне даже и не приходило в голову – это не принято, да он бы, я думаю, и не принял меня. К тому же Инна ведь постоянно кормила «завтраками». А в других журналах все равно глухо. И рассказы, которые я везде рассылал, возвращались по-прежнему неизменно.

К этому времени я уже закончил Литинститут и одним из двоих со всего курса (как, согласно экзаменационным оценкам, один из лучших студентов) был принят на Центральное

Телевидение на должность редактора-методиста. Долго думал прежде, чем решиться ринуться в эти явные джунгли – наслушался от знакомых, какие там нравы, – но все же решил рискнуть, назначив себе приблизительно год для изучения этих «джунглей».

После институтских экзаменов и защиты диплома – перед тем, как приступить к работе на телевидении – мне удалось осуществить авантюрную идею: проехал от Москвы до Винницы на дорожном велосипеде. Один, с минимальным багажом, без палатки, по проселочным дорогам, ночуя у местных жителей по пути. Это путешествие длилось две недели, и это были одни из счастливейших дней моего тогдашнего существования! Настоящая жизнь! Один на один с людьми и природой, когда ни от кого не зависишь и не на кого рассчитывать, кроме себя самого, в постоянном движении – калейдоскоп происшествий и встреч! Каждый день был полон событий, открытий – в обычной размеренной жизни такое вряд ли испытаешь за целый год! Вот она, относительность времени, проверка ценностей, трезвый взгляд на земное существование! Вернувшись, я все пытался кому-нибудь рассказать о переполнявших меня впечатлениях. И... с растущим недоумением и тоской убеждался: они не очень-то слушают, им не интересно! Они не воспринимают того, о чем я говорю! Это слишком далеко от их повседневной жизни... Чтобы понять, надо подобное испытать, а они, видимо, не испытывали...

И тогда я решил написать о своем путешествии повесть. И почти тотчас же после приезда (натолкнувшись несколько раз на слепоту-глухоту) старательно принялся сочинять. Так и назвать ее решил: «Путешествие».

Но тут началась служба на телевидении, и заиграли телевизионные страсти...

Да, тут тоже можно написать целую повесть (а то и не одну) о том, с чем там столкнулся.

Вообще-то работа на телевидении была, конечно же, интересной. Создание новых передач, общение со множеством людей, постоянные поездки, звонки, разговоры. Достаточно сказать, что героями моих передач были первые космонавты Юрий Гагарин и Герман Титов, поэт Булат Окуджава, актер Олег Анофриев, а ведущими были Анна Шатилова и Александр Масляков. Но это отнимало все время жизни. К тому же, раздражала необходимость безоговорочного подчинения начальству и, конечно же, вездесущей цензуре. Как и с университетом в свое время, так и теперь, нужно было выбирать: либо телевидение, либо писательство. Ведь честная, добросовестная творческая работа требует безусловной свободы.

Проработал я на телевидении всего полгода и ушел по собственному желанию, хотя был на хорошем счету и отпускать меня не хотели. Некоторое время я еще оставался внештатным сценаристом.

И вскоре с радостью окунулся в сочинение своего «Путешествия».

«...Родина – это солнце, это небо, это реки и рощи – только такие и никакие другие. Нигде во всем мире нет такого, именно такого солнца, нигде нет такого, именно такого неба, таких разгульных закатов, робких восходов, сказочно светлых березовых рощ. Великая, необозримая, родная Россия: избы, плетни, перелески, озера и реки, болота, луга, стежки, ухабы, покосы, межи, русые косы, сережки, кресты, голубые глаза, головные платочки, морщины, мозоли, ширь, беспечность, доброта...

Каменка – типично русское село: дорога, по обеим сторонам ее – по ряду изб – окошки на улицу, – и прикованные, тоскующие по небу, «журавли» у колодцев.

Был тот тихий вечерний час, когда отяжелевшее солнце вот-вот уже скроется за лесом, а каждый звук отчетливо слышен и разносится далеко – будь то звяк ведра, скрип «журавля», плеск, лай или говор. Стадо еще не пригнали, и хозяйки в платочках сидели на лавочках возле изб, глядя на дорогу и отдыхая.

Я ворвался в этот тихий обжитой мир – пришелец, странник, хозяин дороги, обветренный и свободный, только что сломя голову летевший по спуску с возвышенности – так, что удары мошек были, как дробь, мошки сходу забивались в ноздри и в рот, приходилось щурить глаза – и они забивались в ресницы, – я вдыхал полной грудью этот ставший прохладным воздух вперемешку с мошками, пах-

нущий росой и тяжелой вечерней пылью, пьянящий своей неожиданной свежестью, – возбужденный, разгоряченный – варвар, гунн, скиф, влюбленный и очарованный. И с ходу, после этой великолепной, спартанской, ошеломляющей гонки, я вдруг оказался в совсем ином, совсем другом мире, спокойном, замедленном, и мир этот пленил меня, перестроил, остановил. Еще не снизило темпа разорвавшее ненужные оковы сердце, еще отголосками стучало в висках, а я уже ехал совсем-совсем тихо, бесшумно, приглядываясь, примериваясь, где слезть с седла, у кого спросить.

Полная пожилая женщина в платке стояла у колодца, и стройный тонкий «журавль» послушно кланялся ей, доставая из-под земли ведрами студеную воду.

– Мамаш, как насчет переночевать? У вас нельзя будет? – спросил я сходу.

Женщина взяла полные ведра, понесла их, покачиваясь, раздумывая на ходу, разглядывая меня, такого инородного, непривычного, но все же – в закатанных поношенных брюках, усталого, проголодавшегося, и – согласилась.

– Ну, что ж, сынок, давай, с моим сыном ляжете, сын у меня приехал. А вы далеко едете-то?

Она поставила ведра у обочины шоссе. Вода выплеснулась и тут же всосалась в сухую землю.

Я терпеть не могу спать с кем-то, а потому, поняв буквально, что с сыном, мол, на одну постель, испугался вдруг, почувствовав скованность, бросив взгляд вдоль длинного ря-

да притихших изб, ощутив острую тоску по свежему сену, по молоку, по уютности деревенского одиночества, спросил:

– А сеновала нет у вас, мамаша? На сеновале бы...

Женщина взяла свои ведра и сказала с оттенком обиды:

– Сеновала нет, сынок, сын как раз двор и строит. А чем хуже в хате-то? В хате-то лучше, спокойнее.

Что было делать? Нельзя пренебрегать ее гостеприимством, не хотелось, и, взяв под уздцы свой велосипед, скрепя сердце, я послушно пошел за нею. И тихий вечерний мир нагнулся на меня, обволок – я уже был не свободным варваром, я был проголодавшимся, уставшим с дороги путником.

За калиткой встретил нас классически сложенный, голый до пояса молодой богатырь, бронзовый, лоснящийся от пота, голубоглазый, русоволосый.

– Вот, привела тебе для компании, – сказала женщина. – Ночевать у нас будет. От самой Москвы на велосипеде едет.

– Васька, – сказал богатырь, приветливо глядя на меня, протянув руку. – Так ты правда от самой Москвы? – спросил он, когда я пожал его сухую и теплую ладонь.

– Почти от самой, от Серпухова. До Серпухова на электричке, – ответил я, и моя собственная рука и вообще все мое тело, только что казавшееся мне самому мускулистым и сильным, вдруг похудело сразу и стало не сильным, а просто – жилистым и выносливым. И не помогло даже то, что я ответил на следующий вопрос Васи:

– В Винницу еду. Через Киев, Житомир, там посмотрю, может быть, и до Одессы...

– Ого! – удивился Васька. – И... на этом самом??

Он критически осмотрел мой транспорт.

– Да, на этом, – сказал я, чуть-чуть воспрянув духом.

Ростом Вася был чуть пониже меня, но уж больно хорошо сложен.

– Купаться поехали? – предложил он, уже как хозяин и приятель одновременно.

...Конечно же, мы не спали на одной кровати с Васей, как я боялся...»

(Из повести «Путешествие», 1967 г.

Сборник «Листья», 1974 г. Издательство «Советская Россия»)

Инна Борисова все еще «читала» мою повесть «Почем синь неба», а тем временем начиналась уже знаменитая Чехословацкая весна... Повеяло ветром свободы. Я даже sny начал видеть символические: в моих руках газета, где вдруг – впервые! – напечатана правда! Весна, свежий ветер, оживленные люди на улицах... Радость, сердце колотится, а на глазах слезы счастья... Свобода!

Но вот, наконец, прочитала Инна. Ей – понравилось! И она тотчас «отдала повесть на редколлегию». Повесть-то – «горячая», самое время! Как бы не опоздать... Тут уж

несколько человек из редколлегии прочитало повесть буквально за несколько дней. Старший редактор отдела Анна Самойловна Берзер сделала совсем небольшую правку, с которой я согласился, и единственное, о чем попросила еще – опять, как и в случае с «Подкидышем», – придумать другое название, убедив меня в том, что «Почем синь неба» все же слишком претенциозно. Я предложил несколько вариантов, лучшим был признан «Переполох». С таким названием повесть и отдали в набор. Самое главное: должен был прочитать Твардовский. От его отзыва зависело все.

«...Лежал Нефедов с закрытыми глазами, слышал, как потихонечку ходит жена и ребятишки стараются шахматами не сильно стучать и говорят меж собой вполголоса, и казалось ему, что он умирает, умер, а они вот не заметили, так и продолжают в шахматы играть. И до слез жалко себя стало. Кому он нужен, несчастный, маленький, больной, жалкий неудачник, который вот и за себя-то не может никак постоять? То, что он совершил сегодняшним вечером, когда позвонил Хазарову, – предел падения, дальше некуда, и женщина, которая отдается за деньги, все-таки благородней, потому что она продает только себя, не предавая тем самым других людей. Хазаров фактически теперь может делать, что хочет, и скажи он Нефедову, что нужно ему ботинки почистить, Нефедов почистит, потому что то, что он сделал сегодня, гораздо хуже и унижительнее.

Ночью Нефедова опять мучили какие-то сны, а в воскресенье, когда чуть ли не насильно сунула ему Клава градусник, была у него высокая температура. Он вызвал врача, и дали ему бюллетень. Однако к вечеру температура спала. С утра в понедельник чувствовал себя Нефедов лучше. Позволив секретарше Хазарова и сказав, что болен, на бюллетене, он надумал съездить в управление...

...Первое решительное у Нефедова: пойти к Хазарову тотчас. Застать его на месте, дожидаться или поискать даже. И сказать. Вот так просто, по-человечески и сказать. Поняв, однако, что можно ведь и прождать весь день и растерять пыл – он знает себя, надолго не хватит, – решил он ехать вечером к нему домой. Раз уж завел Хазаров такой обычай. Однако по мере приближения вечера сильно засомневался Нефедов. Что именно будет он говорить Хазарову? Выслушают ли его, не выставят ли просто-напросто за дверь? Какое, вообще-то говоря, право имеет он на домашний визит? Что будет говорить, как?

И не пошел.

Однако за ночь муки Нефедова не утихли. А к утру начала его бить нетерпеливая дрожь. Странно чувствовал он себя, как-то механически. Не позавтракал, только пустого чая выпил и в десять вместе со всеми был на докладе комиссии...

...Нефедов никак не ожидал, что его коротенькое, бесвязное, состоящее буквально из нескольких слов выступле-

ние вызовет такую реакцию, такую лавину, такой неудержимо, прямо на глазах зреющий скандал. Во-первых, тотчас же его поддержал Сыпчук, что было совсем сюрпризом, во-вторых, Мазаев сцепился с Хазаровым. Хазаров, явно чувствуя себя неудобно, тут же обрушился на него, Нефедова, но за него заступился Гец, потом заговорил, но уже как-то совсем по-другому Богоявленский. Но и Богоявленского слушали теперь совсем не так, как раньше, не было внимательной тишины. Старицын, перегнувшись через стол, объяснял что-то Гецу, Мазаев, не слушая ораторов, хмурился и громко стучал пальцами по столу. Сыпчук, приставив к уху ладонь, вертел головой, слушая всех подряд. Хазаров, крепко сцепившись пальцами в край стола, играл ноздрями, но он вовсе не казался Нефедову сейчас страшным...»

(Из повести «Переполах», 1966 г.

(сборник «Листья», 1974 г. Издательство «Советская Россия»)

Встреча с Твардовским

Преклонения перед кумирами у меня не было никогда. Уважение – да, безусловно. Что же касается преклонения, то ровно наоборот: я почему-то с детства был подсознательно убежден, что люди по-настоящему значительные – это самые нормальные, простые в обращении люди, с которыми найти общий язык как раз очень легко. Да ведь и в книжках об этом писали. И я всегда удивлялся: почему это принято перед кумирами «писать кипятком»? Что это за странная тенденция у нас такая? И я наоборот: встречаясь со знаменитым человеком, как-то автоматически старался быть даже слегка грубоватым, чтобы он, не дай Бог, не подумал, что собираюсь перед ним лебезить. То же, кстати, испытывал всегда и по отношению к самым красивым женщинам. Не в смысле грубости, конечно, а в смысле раскованности: чем красивее, чем прекраснее женщина, тем, мне казалось, легче найти с ней общий язык. Что, кстати, всегда и оправдывалось. Не везло же мне постоянно с надутыми, напыщенными идиотами обоих полов.

О Твардовском ходили легенды. Пожалуй, в то время не было более уважаемого человека в среде интеллигенции. Он и поэт был на самом деле хороший (один «Василий Теркин» чего стоит, а тут еще и «Василий Теркин на том свете» появился), но его деятельность на посту главного редак-

тора «Нового мира» вызывала уважение, может быть, даже большее. Многие из хороших писателей получили путевку в жизнь именно в ТОМ «Новом мире». Если бы таких людей было побольше в нашей стране! Увы, их в XX веке было буквально наперечет.

(«Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан» – эти слова Некрасова сейчас измызгали, сегодняшние крошечные «кумиры» даже издевались над ними, но для России они всегда имели огромный смысл, а сейчас вспомнить их самое время. «Поэтов» в России сегодняшней хоть пруд пруди, а вот граждан почти не осталось. Вот и воспевают ничтожество и ничтожеств. Вот и гибнет, почти погибла страна).

Идя на редколлегию, я не знал, какого мнения Твардовский о моей повести, да и в редакции никто не знал – ему дали верстку буквально дня два назад, он читал ее на даче... А чтобы поменьше нервничать и отвлечься, перед редколлегией я печатал фотографии, завесив окна дома, – снимки новогоднего праздника в одном из детских садов. Нервничал не от встречи – нервничал потому, что решалась судьба повести, прочтения которой ждал так долго. Публикация уже не рассказа, а целой повести, да еще столь «острой» по тем временам, автоматически сделала бы меня уже писателем признанным, известным: естественно, прием в Союз Писателей (а это по тем временам многое значило); естественно, гонорар и возможность заниматься своим делом спокой-

но какое-то время («Путешествие» я написал, но задуман и уже начат был роман «Пациенты»). К тому же публикация еще чего-нибудь из уже написанного...

Что мне сразу не понравилось, когда еще только вошел в редакцию, – обстановка явного ажиотажа, вздрюченности сотрудников. Не понравилось не из-за себя, не понравилось вообще. Терпеть не могу такой истеричности – это же признак ничтожества, рабства. Что он, Твардовский, не человек, что ли? И еще. Ведь вся редколлегия, собственно, была посвящена, как мне сказали, исключительно судьбе моей повести. Но на меня никто и внимания не обратил. Ждали самого Твардовского, а я кто такой? Вот скажет Твардовский, что хорошо – тогда внимание и обратят, а пока что я ничего еще не заслужил.

Совсем отвратительной показалась мне реакция на меня секретарши Твардовского – не помню, как ее звали. Средних лет, довольно импозантная женщина, культурная на вид (да ведь какую попало он бы в секретарши не взял, я думаю), она этак свысока глянула и изрекла:

– Что, поджилки трясутся? Молодой автор, понятно, естественно...

То есть, мол, пришла мошка этакая на встречу с гигантом, поджилки *должны* трястись, а то как же! Так во всяком случае это звучало, хотя поджилки у меня вовсе и не тряслись. И такая значимость была в ее взгляде, словах, я чуть не выругался. А хотелось. Причем обязательно матом.

Тучи над Твардовским в то время сгущались – цензура ЦК все чаще снимала уже набранные и поставленные в номера журнала вещи, кремлевским старцам надоело терпеть этот очаг вольномыслия, да и Солженицына трудно им было простить – его имя ведь все громче звучало за рубежом. А тут еще и Чехословакия... Ходили слухи, что Твардовский пьет, хотя пока что с цензурой упорно воюет. Каким он выглядит? Разумеется, было весьма интересно... Но – тем более! – ажиотаж в редакции мне не нравился: как же любят у нас все навешивать на одного человека! Ну, Твардовский и Твардовский. А вы что? Твардовский один не может, его поддерживать надо, но если вы такие ничтожества, то какая от вас поддержка? Отвратительно!

И вот словно ветром подуло, слух прошел: приехал! Все направились в его кабинет. Все – это человек 6-7, включая Инну Борисову, Анну Самойловну Берзер, заведующего отделом прозы, двух заместителей Главного и меня. Только-только вошли, и тут в дверях появился Твардовский.

Крупный, энергичный, он быстро вошел, тотчас обвел всех своими ярко-голубыми, показавшимися мне очень чистыми – отнюдь не затуманенными алкоголем, чего можно было все-таки ожидать, – глазами. Пожал руки мужчинам – ладонь его была энергичная крепкая, что мне сразу очень понравилось.

– Это автор? – обращаясь ко всем, глядя на меня.

– Да-да, – подтвердил кто-то.

– Что ж, не сказать, чтобы в серьезном возрасте... – произнес с улыбкой, и – ко всем:

– Садитесь, пожалуйста.

Все осторожно расселись.

– Ну, что ж, товарищи, – сказал, стоя, оглядывая всех, задержав внимательный взгляд на мне, – я прочитал повесть. И должен сказать, что она мне очень понравилась.

Тут все тотчас же и расслабились, а Инна и Анна Самойловна, посмотрев на меня, заулыбались.

Конечно, это был мой звездный час, хотя я натерпелся столько уже, что радости по-настоящему совсем не испытал. Удивительно может быть, но я только мысленно перевел дух, совершенно четко осознавая, что хотя и здорово то, что сказал Твардовский, однако это еще не победа. Вот выйдет из печати номер журнала, тогда и порадуемся. А пока...

Александр Трифонович начал говорить о повести – главным образом хвалил (сравнил меня аж с Салтыковым-Щедриным), пристально глянув мне в глаза, сказал еще, что не боится говорить так, потому что видит: я этим не избалован. Такая пронизательность меня мельком приятно поразила. Замечания о недостатках у него тоже были – я тотчас напрягся, когда он заговорил о них, – он и это заметил, тотчас сказал что-то шутовское по этому поводу, добавив, что, мол, «нечего ошетиниваться, здесь вам никто не враг». Еще он удивился, что сам я не работал в строительной организации, потому что очень уж точно описаны все производствен-

ные детали и отношения, мне показалось даже, что он то ли разочарован, то ли мне не поверил.

Ну, в общем решено было давать повесть в ближайшем – майском – номере. Был что-то конец января, но номера «толстых» журналов всегда формировались за три-четыре месяца до выхода из печати. Пока же обещано было выплатить мне аванс, как это и положено в том случае, если рукопись пошла в набор. Правда, об авансе твердо сказал Твардовский, а Инна с Анной Самойловной чуть позже намекнули, что, мол, хорошо было бы, если я от аванса благородно откажусь. Меня это, честно говоря, слегка возмутило – я как-то очень явственно почувствовал в их словах то же самое подострастие перед начальством, которое ощущал все время, и неприятное пренебрежение к моей судьбе. Ведь по разговорам в редакции они знали, что я вынужден зарабатывать нелегальной фотографией, скрываясь от милиционеров и фининспектора, чтобы иметь возможность заниматься своим делом. И я сделал вид, что их намек не понял. Тем более, что шестым чувством ощущал: еще ничего не известно, гарантии публикации вовсе нет, так пусть хотя бы... Гарантии не ощущал и сам Твардовский, о чем честно сказал, и его слова о «выплате аванса автору» звучали полной противоположностью тому пренебрежению к «молодому и неизвестному», что я чувствовал в редакции постоянно. Ведь даже сам факт аванса от журнала, не говоря даже о деньгах, был бы защитой от милиции, если что.

Приговор

И почти тотчас после «редколлегии» моя жизнь изменилась. Правда, изменения были очень поверхностные и какие-то зыбкие – так в феврале начинает вдруг отчаянно светить солнце («весна света», по Пришвину), но понимаешь, что еще все-таки зима, впереди март и апрель, месяцы сомнительные, не всегда погожие, порой холодные и гнилые. Но в природе все равно торжествует извечное – за весной неизменно приходит лето, – а вот в жизни страны приход лета может затянуться так надолго, что никакой человеческой жизни не хватит.

Очевидно, из редакции «Нового мира» пошли слухи о набранной и одобренной самим Твардовским повести – в мою убогую коммунальную квартиру стали приходиться письма и телеграммы, и чаще стал звонить общественный телефон в коридоре. Письма и телеграммы приходили от знаменитых людей – режиссеров столичных театров и киностудий. От самого Олега Ефремова была телеграмма из самого популярного, самого передового в те времена театра «Современник»; из театра Сатиры; от главного режиссера театра им. Маяковского А.Гончарова. Приехала ассистент режиссера с киностудии «Ленфильм»; интересовались с «Мосфильма»; со студии им. Горького... Дело в том, что «Переполюх» был ведь написан живо, в форме детектива – для того, чтобы сни-

мать кино или ставить пьесу, много делать не надо: почти готовый сценарий! Видимо, стала гулять по столице верстка повести, осененная благословением самого А.Т.Твардовского, вот «творческая интеллигенция» и зашевелилась.

Телеграммы, письма и звонки были, но ни одной встречи с кем-то из режиссеров не было. Дело в том, что «материал острый» и давать ему ход могли решиться только после того, как журнал с повестью выйдет. Так мне и говорили. Поэтому встречаться светилам со мной пока что не было смысла. Это меня удивляло, и, честно говоря, было обидно.

Тогда я четко не осознавал, что происходит, я только чувствовал какую-то болезненную неестественность происходящего. Меня – как человека, гражданина, писателя – словно бы и не существовало для этих людей. Была верстка повести, и был отзыв «великого А.Т.Твардовского». Но и то, и другое было пока что для них, очевидно, лишь неким фантомом. Ведь повесть еще не вышла, не опубликована, а значит, ее для них как бы и нет в природе. Она появится только в том случае, если ее пропустит цензура ЦК... Но ведь на самом-то деле повесть есть! Вот же, вот она, верстка! И я, ее автор, есть! Вот он я, вот он... Я, который ее написал, – не случайно же написал, ведь я автор и «Подкидыша» тоже (который уже был в «Новом мире» опубликован), да ведь и много чего еще напишу, вот же он я, «перспективный», вот он!

Но получалось, что для них для всех ни повести, ни, тем более, меня пока что как бы и не было. Я, так сказать, су-

существовал лишь в возможном проекте. Оживить, а фактически родить меня и повесть (стать акушером, что ли) мог – с их точки зрения – только цензор ЦК, какой-то мало кому известный человек (сейчас, когда я пишу это, его почти наверняка нет в живых, а если есть, его никто и не знает...). И вот получалось что же? Получалось, что он, этот маленький человечек, «вахтер», облеченный, тем не менее, огромной (прямо-таки божественной!) властью «пропустить или не пропустить» – он и есть для всех людей страны даже и не царь, а – истинный Бог? Который может дать, а может и не дать права существования и моей повести, и мне, ее автору?

Это я сейчас четко и ясно понимаю. А тогда только чувствовал. Не повесть ценили те, кто ко мне обращался с лестными письмами и телеграммами – не повесть (которая, конечно же, им понравилась, иначе не суетились бы с телеграммами-письмами-звонками) и не меня, ее автора. Не свое собственное отношение к тому и другому было для них важным, определяющим... Самым главным для них было: а) мнение А.Т.Твардовского; б) разрешение или неразрешение чиновника от цензуры. Причем второе – б) – гораздо, несравнимо важнее первого, ибо первое ведь уже было, и все зависело теперь только лишь от Бога-чиновника... И это – все! Свое личное отношение, свое собственное гражданское чувство для них для всех было, выходит, как бы так, между прочим, мало что значащим! То есть почти ничего (со мной ведь никто из «светил» не удосужился даже по телефону погово-

ритель). «Властители дум», «творцы великого искусства», «поводыри народа» застыли в трепетном ожидании: что скажет «верховная власть»?... Что ни говорите, а получается именно так.

И ведь речь шла о власти, которую, кстати, все они тайно как будто бы ненавидели и, как будто бы, с ней слегка боролись... Но я-то написал повесть и отдал ее в печать, не побоявшись подставить себя. И А.Т.Твардовский одобрил ее и – дал официальное «добро» на публикацию, тоже не побоявшись! А они что? У них-то было *свое* мнение, *своя* воля, *свое* представление о том, что хорошо, что плохо?... Где оно? Интеллигенция...

Майский номер журнала («Новый мир» № 5, 1968 г.) вышел только в августе, он был урезанным на одну треть, тонким. В редакции мне сказали, что цензура ЦК повесть мою не пропустила.

Но когда этот номер вышел, редакция как будто бы не сдавалась. Как мне сказала Анна Самойловна Берзер, надо кое-что в повести «смягчить» – особенно «ранг чиновников», чтобы происшедшее выглядело менее типичным, более частным случаем (как пелось тогда в песне: «...если *кто-то* кое-где у нас *порой* честно жить не хочет...»). Я решил на это пойти – тем более, что видел: редакция на моей стороне, «смягчать» мы будем очень немного, а повесть и в «смягченном» виде может хорошо прозвучать...

Чуть-чуть я «смягчил» – понизил ранг. И мне пообеща-

ли поставить повесть в один из ближайших номеров. Но тут уже советские танки вошли в Прагу... Август оказался тем самым, «историческим» – Черным.

Приговор нам с повестью был подписан. Обвинительный приговор: не пройдет! И уже ни в одном театре никто не хотел со мной всерьез разговаривать... Роды, таким образом, не состоялись.

Эх, с горечью думал я, если бы редактор Инна Борисова читала хотя бы разика в два быстрее! Ну по страничке в день хотя бы... Пусть даже и с перерывами-выходными... Глядишь, и успели бы.

Да, Март, вот так. Ты при капитализме жил, а я при социализме. Ты быстро добился успеха, несмотря ни на что, а я вот ползу еле-еле. Но ты все равно не был счастлив, увы. Я же пока еще на что-то надеялся.

Вестница

Стояли теплые дни конца августа. Приговор моей повести был вынесен, я прекрасно понимал, что все у меня в смысле напечатания застопорилось надолго. Хорошо еще, если случайно не заметут... Да только ли у меня такое! Несколько отчаянных молодых людей вышло на Красную площадь и к памятнику Пушкину, демонстрируя свое отношение к «братской помощи народу Чехословакии», их быстренько замели в кутузку; кое-кто из интеллигенции написал письма протеста – их, естественно, проигнорировали. Народ у себя на кухнях (иногда на улице, в очередях) тоже порой выражал свое недвусмысленное отношение к происходящему, но дело было сделано: Людвиг Свободу интернировали, Александра Дубчека арестовали, страну, пытавшуюся подняться с колен, оккупировали танками и войсками. Конец вашим надеждам, кролики!

Что поделаешь, се-ля-ви. В такой стране живем, граждане, в таком мире, в такое время...

И все же при всем при том свою личную судьбу я и тогда (и теперь тоже – тем более!) вовсе не считал особенно трагичной, уникальной и неудачливой. Ну, никто не помогает, ну, вот не печатают ни черта – повесть только что зарубили. Ну и что? У многих моих соотечественников и того хуже... А то, что не печатают – так ведь не одного же меня! Напеча-

тают еще, придет время... Кстати, я сам никогда не считал «Переполох» особенно хорошей вещью. Вот роман и рассказы – другое дело.

Один из рассказов назывался так: «Непонятное». В нем было всего что-то около пяти страниц на машинке, но по истинной значимости я считал его ничуть не менее важным, чем повесть «Переполох». А может быть и более важным. Был он о том, как молодой человек, студент Университета, отличник, мучимый смутными чувствами, связанными, в общем-то, с его никак не могущим состояться первым в жизни «сексуальным контактом» (что как-то непонятно портит ему существование), знакомится однажды на улице с девушкой, приводит к себе в комнату общежития (он «иногородний»), она у него остается на ночь (после неумелых, неуклюжих уговоров), и сначала ничего не получается у них (она «не готова», а он – тем более...), они засыпают, наконец, а ночью вдруг – то ли во сне, то ли наяву, непонятно – все происходит... Происходит нежно, естественно (как в реальной, сознательной жизни произойти, увы, не могло из-за дикой нашей дури, закомплексованности, трусости, задвинутости, животной ослепляющей похоти), происходит так, как должно происходить на самом деле всегда – с нежностью, любовью, уважением и без страха... Но они вновь засыпают оба после финала (по-настоящему, собственно, и не просыпались), а утром, не разбудив его, она уходит (ей на работу рано). Он же пробуждается в состоянии неизъяснимого сча-

стья. И видит на столе записку с оставленным ею номером телефона. И постепенно осознает, что – да! да! да!! – на самом деле БЫЛО! И просто обалдевает от вскипающей радости жизни, от самого существования в этом солнечном мире, от ощущения потрясающего открытия...

Непонятное, действительно непонятное, и – чудесное!

Вот этот небольшой рассказ я как раз и считал своим НАСТОЯЩИМ достижением – наряду, конечно, с романом, «Зимней сказкой», «Листьями», «Запахом берез», «Путешествием». В конце концов, я назвал его по-другому: «Яркие пятна солнца». Ведь истинные ценности жизни в этом – в простых и естественных человеческих радостях! Которые, как солнечные блики, расцветивают нашу далеко не всегда яркую жизнь. А вот в «Переполохе», «Подкидыше», вообще в любых «производственных», «криминальных» – «социальных»! – сочинениях речь идет, как правило, не о счастливой человеческой жизни, а о том, что ей *мешает*, или о том, чего хотят от писателей, художников, вообще от всех людей разнообразных «властьимущие». То есть в них все же – не полная правда о жизни. На самом деле люди живут не этим! Я думаю даже, что те, кто мечтает о власти и о деньгах, мечтают на самом деле *не о них!* Они мечтают о своей значимости, благополучии, о том, чтобы их уважали, и чтобы они сами себя уважали. А главное – чтобы их любили! Для чего и нужны, думают они, власть и деньги. Глупцы! Ведь это – самообман.

И все ясней и ясней понимал я, в частности, великую роль именно того, что большинство окружающих упорно не хотело считать важным и ценным. То есть *эротических, половых* взаимоотношений между людьми, наполненных радостью, взаимным уважением, красотой. Непонимание важности *нормального* отношения к «этому» запутывает, заставляет заниматься сплошь да рядом вовсе не тем, к чему лежит душа, и – обманывает, закрепощает, уводит от жизни. Начав лгать здесь, люди лгут и во всем остальном...

Правда, аргументировать четко и уверенно все это я пока еще не мог. Слишком противоречили мои убеждения тому, что меня окружало. Неужели чуть ли не все вокруг сбрендили, а я и немногие те, кто думает и чувствует так же, правы? Это было бы слишком...

Но по крайней мере, я старался не врать. То есть верил прежде всего не тому, что мне со всех сторон пытались внушить, а – самому себе, собственной своей природе, своему чувству, совести. Жизни! И – кантовскому «нравственному закону» во мне. Думаю, это и помогало не просто выживать в тех условиях, а – *жить*. И жить, в общем-то, сравнительно полной жизнью. Я ведь не только обожал природу, путешествия, фотографию, девушек... Но и – действовал! И даже имел наглость «осваивать» Науку Любви во всех ее аспектах, в том числе – обязательно! – и сексуальном. Я – учился! «Этому» тоже. И хотя секса, как известно, у нас, в Советском Союзе «не было», у меня он был. И порой очень и

очень «качественный».

К тому времени мой «послужной список» худо-бедно достиг двадцати... Да, я даже вел свой «послужной список»! Но вовсе не потому, что собирался хвастаться им, а – из *уважения* к тем, кто в этот список входил. Близость с каждой из них была для меня подарком, потому что каждую я уважал и в какой-то мере любил. Каждый раз это был праздник, заслуживающий «зарисовки», рассказа, а то и романа. Я ничего не обещал, никого не обманывал, был благодарен и восхищен. Они чувствовали это, и все происходило с радостью обоюдной. Позднее я многое описал в романе «Поиски Афродиты»...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.